

И
Н
Т
Е
Р
П
О
Э
З
И
Я

международный журнал поэзии
intercultural magazine for poetry and arts



2024

ИНТЕРПОЭЗИЯ

Международный журнал поэзии

2024, избранные тексты выпусков 72–75



Нью-Йорк – Москва

Главный редактор и издатель: Андрей Грицман (*Нью-Йорк*).
Соредактор: Вадим Муратханов (*Москва*).

Редакционная коллегия: Лилия Газизова (ответственный секретарь, *Кайсери*), Александр Вейцман (секция переводов, *Нью-Йорк*), Марина Гарбер (*Лас-Вегас*), Лариса Щиголь (*Мюнхен*), Марина Эскина (*Бостон*), Дмитрий Тонконогов (*Москва*).

Редакционный совет: Владимир Гандельсман, Юлий Гуголев, Владимир Друк, Бахыт Кенжеев, Владимир Салимон.

ISSN № 1554–9313 Электронная версия
ISSN № 1554–9305 Печатная версия

© Авторы, тексты

© Интерпозиция, состав и оформление

ИНТЕРПОЭЗИЯ — международный журнал лирической поэзии, основан в 2002 г. Мы публикуем стихи, переводы, короткую прозу («стихопрозу»), эссеистику, интервью, дискуссии и отзывы о новых книгах и журнальных публикациях. Журнал ежеквартально выходит в электронной версии на сайте interpoezia.org; по итогам года выпускается бумажная версия с избранной поэзией, прозой и эссеистикой.

Наш журнал — это поэзия «поверх границ», в координатах времени и пространства. Наши времена — потерянности в толпе и одиночество в глобальном межкультурном пространстве, когда поэзия становится основным способом общения между посвященными. Это также попытка навести электронный мост между материками двух мощных языковых и литературных культур: русской и англоязычной. Русский язык, а с ним и поэзия, живет и развивается, подобно современному английскому, на разных территориях: в метрополии, в дальнем и ближнем зарубежье. Сведение под одной небесной крышей поэтов и редакторов из разных стран сегодняшнего обитания поможет найти общий поэтический язык.

Адрес редакции:

Interpoezia, Inc.
80 Crain Road
Paramus, NJ 7652
USA

Электронный адрес: editor_interpoezia@hotmail.com

Все материалы в редакцию рекомендуется отправлять по электронной почте.

Просьба присылать не более 10 страниц текста с краткой биографией. Большие объемы редакция не рассматривает.

При отправке переводных рукописей обязательно предоставление оригиналов переведенных произведений.

Рукописи не рецензируются.

Авторские права передаются авторам после публикации. Все материалы опубликованы с согласия авторов. Просим при перепечатке наших материалов ссылаться на источник.

Информация об авторах, не представленная в печатной версии журнала, доступна на сайте «Интерпоэзии» — в списке авторов (<https://interpoezia.org/authors>) и непосредственно на странице с публикацией материала.

Журнал можно приобрести:

Нью-Йорк: в нью-йоркской редакции журнала
editor_interpoezia@hotmail.com

Москва: в магазине «Фаланстер», ул. Тверская, д. 17;
в московском отделении редакции у Вадима Муратханова
khanmurid@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Рафаэль Шустерович ПОД ЗНАКОМ БЕЛЛОНЫ.....	11
Лилия Газизова ВЕРНАЯ РУТИНА.....	18
Евгений Волков ПРИДУТ СМОТРЯЩИЕ С НЕБЕС.....	20
Ирина Иванченко ПОСЛЕДНЯЯ РОДИНА.....	24
Анна Маркина ТУМАН.....	33
Вита Штивельман ВОЙНА И МИР.....	35
Елена Севрюгина СФЕРА НЕОЧЕВИДНОГО.....	38

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Шамшад Абдуллаев ЯЗЪЯВАН.....	43
-----------------------------------------	----

ПОЭЗИЯ

Владимир Гандельсман ГОЛОСА.....	59
--------------------------------------------	----

Майка Лунёвская РОДИНА ВО ДВОРЕ.....	65
Мария Затонская В ДОМЕ ВЫКЛЮЧИЛИ СВЕТ.....	68
Любовь Колесник ТИХИЕ ЯБЛОКИ	70
Владимир Салимон ЧТО-ТО СДВИНУЛОСЬ В ПРИРОДЕ.....	75
Надя Делаланд ВЕСЬ ДЕНЬ.....	82
Татьяна Вольтская ПОКАЖИ МНЕ ДОМ	86
Алена Максакова ПОЩАДИ ЭТОТ МИР	95

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Слава Полищук ПЬЕТА.....	101
------------------------------------	-----

ПОЭЗИЯ

Алексей Дьячков БЕЛАЯ РЕКА	113
Анастасия Тимофеева ИСЧЕЗНУТЬ ЧТОБЫ ПОЯВИТЬСЯ	119
Андрей Гуцин СПАСЕНИЕ БАБОЧЕК	124

Алексей Чердаков ТЫ МНЕ НЕ ВЕРЬ.....	127
Ольга Сульчинская НА ПОЛЯХ ИЛИАДЫ	129
Лада Миллер ВРЕМЕНИ НЕТ	132
Юрий Михайлик У КРАЯ ЗЕМЛИ.....	135

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Елизавета Евстигнеева НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ	139
------------------------------------------------------	-----

ПОЭЗИЯ

Борис Херсонский СТИХИ 2022–2023	143
Галина Нерпина ХРУПКИЕ ДНИ	150
Светлана Михеева КНИГА МОЛЧАНИЯ	154
Марина Эскина НОВЫЕ СТИХИ.....	157
Надежда Келарева НЕ ВЫХОДИ НА ЛЕД.....	162

VERBA POETICA

Галина Климова
ДРУЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ ПОЭТАМ 167

Каринэ Арутюнова
СКРИЖАЛИ ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ 174

ПЕРЕВОДЫ

Билли Коллинз
ВОЗВРАЩЕНИЕ КЛЮЧА
Перевод с английского Марины Эскиной 191

Вислава Шимборская
РАЗГОВОР С КАМНЕМ
Перевод с польского Елены Катишонок 200

Сергей Жадан
НОВЫЙ АЛФАВИТ
Перевод с украинского Анны Аркатовой 209

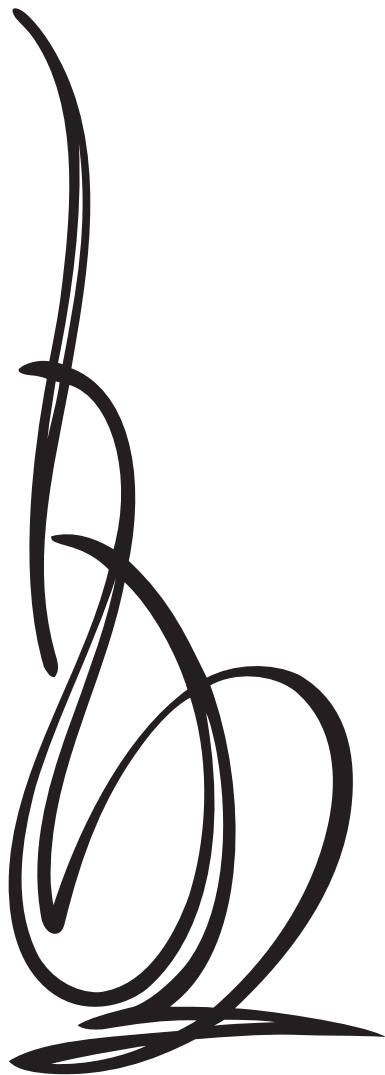
IN MEMORIAM

Андрей Грицман
О БАХЫТЕ 219

Вадим Муратханов
ШАМШАД АБДУЛЛАЕВ: ОПЫТ СВОБОДНОГО СТИХА 222

Алла Боссарт
ЧУДО НОРМЫ
Памяти Льва Рубинштейна 225

ПОЭЗИЯ



Рафаэль Шустерович

ПОД ЗНАКОМ БЕЛЛОНЫ

МОНОМАНИЯ

в двадцать первом не думаешь
что будет двадцать второй
на пушинку дунешь
облако встанет горой
на краюшке луга
в землю идет водопад
посреди недуга
сходятся ноты в лад
где же снег прошлогодний
где дамы былых времен
где же выход льготный
где наслаждения стон
где дурные заботы
где ток дорогих смертей
где гримасы погоды
где безбашенных дайджест вестей

ПИРАТЫ В ПАЛЕРМО

Из Игнацио Буттитта

Как напали пираты
На Палермо, о Боже,
Устремились на берег
Эти адские рожи.

Они отняли солнце, о, солнце,
Погрузились во тьму мы, во тьму мы.
Сицилия плачет.

Апельсиновым рощам
Не оставили злата,
Только голое поле
За спиной у пирата.

Они отняли солнце, о, солнце,
Погрузились во тьму мы, во тьму мы.
Сицилия плачет.

Они отняли свет
Бирюзового моря,
И заплакали рыбы,
Помешались от горя.

Они отняли солнце, о, солнце,
Погрузились во тьму мы, во тьму мы.
Сицилия плачет.

И в очах наших женщин
Вдруг сиять перестало
Пламя — то, что когда-то
Зеркала обжигало.

Они отняли солнце, о, солнце,
Погрузились во тьму мы, во тьму мы.
Сицилия плачет.

ПАМЯТИ РОМАНА АРБИТМАНА

Роман пишет роман о злодеях,
для возмездия прибегая к высшей силе;
перо — не шпага, но все же, владея,
он хочет того, о чем не просили.

Стрелы гнева крепко засели,
выпад, выпад, холодок по хорде;
злу воздалось, хоть есть еще цели,
роман закончен, Роман уходит.

Казалось — осталась самая малость,
и справедливость уже не в тумане,
и он ушел, и оно разгулялось —
зло, наказанное только в романе.

Z200

В коробке из-под леденцов
хранились гвозди и шурупы
командующий одинцов
перебирал их словно трупы
корявым пальцем и гремели
победных барабанов трели

ЗАСТОЛЬНОЕ

поговорим о холере в одессе о матросе железняке
о том как конфликт освещается в прессе о неуходящей тоске
о том что вид исчерпал предельность вышел за рамки сна
о том что замараны ношность и денность и не в коня весна

не слишком ли многое мы узнали за этот последний урок
где лиру сжимают грифоны из стали в когтях подагрических ног
где две сигнальных системы забыли друг друга и прут на рожон
и где о матросах слагают были для равнодушных жен

НАЗОВИТЕ МЕНЯ АГАСФЕРОМ

пахнет землей и грибными спорами
есть предложение стать агасферами
камбий насыщен сосуды порваны
злые плоды созревают первыми

пахнет неразрешимыми спорами
взрезанным морем небесными тучами
не соблазняйся кувшинами полыми
кони отпущены свитки скручены

в дольных колодцах вода несладима
странник куда ты в скитанье вестимо
небо небесное в облаке дыма
дым отечества невыносимый

ПТИЦЕЛОВЫ

На заре турманной юности
То скворец а то щегол
Независимо от южности
Голубь взмыл пошел пошел

Ханин хлеба на копейку
На синицу разговор
Перекусишь тубетейку
И в зенит глядишь в упор

Гнутый взор наводит порчу
Подзатыльник скор с руки
Отчего-то верят в почту
Задичавшие полки

Тает тяга караванная
Растворяется во мгле
Глянешь перышко незваное
Приземлилось на столе

TYRO

храп горожан, ночь на дворе
роща, канава, тлен
вдруг тебе слышится J'attendrai
или Lili Marleen
что-то негаданное с тобой
как тысячи лет тому
сзади доносится «на убой»
сверху «нет не возьму»

о не таких набирал Гилад
 для тех библейских баллад
 ты сам теперь номерок и ряд
 ты сам себе собственный ад

LYCAENIDAE

стаяка бабочек-голубянок
 им не до лиговок не до лубянок
 пятнышко влаги солнце на склоне
 чтобы плясать как бериллы в короне
 чтобы плести легкомысленный танец
 зри итальянец завидуй испанец
 не тарантелла и не сардана
 то что не поздно то и не рано
 капелька влаги зернышко пищи
 так не танцуют на пепелище
 что ж вы бесшумные увеселения
 чешуекрылого населения

НОМО INTERFICIENS

Н. А. Доброхотовой-Майковой

король который лир который лес
 пошел на вы или совсем исчез
 или оделся в мерзлую листву
 пристойную такому торжеству

о сколько можно ждать пока леса
 горе взметут тугие небеса
 и двинутся на вы на дунсинан
 из кадмовых взошедшие семян

леса леса не вам ли эта роль
 отводится надсадом наших воль

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

а когда узнают что некто прозрел и дрогнул от ужаса
и се увидел что пепел бел и вокруг догорают леса
и запах тлена в ноздри течет и голоса сирен
в уши вплавляют адовый лед и кровь разрушенных стен
соберут пеньку коноплю и джут и совьют первородный жгут
и привяжут к столбу на последний суд где не бьют не рубят не жгут
где только и дела стой и смотри так у мачты обвис улисс
и все что творил он горело внутри и сирен голоса вились

ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Птицы-пальцы клюйте полоски клавиш
Сбросишь панцирь и на тропе оставишь
Пот струящийся спиной пианистки
Алой ткани высветит вырез низкий

Озарение кратко успех условен
Разучившийся плакать еще не сломлен
Под заклятием Грига или Шопена
Набегает пена сползает пена

Мы приходим розно уходим розно
Налагай же если еще не поздно
На границах дальних клавиатуры
Кровоостанавливающие лигатуры

АПОЛЛОНИЧЕСКОЕ

Никто от поэта не требует жертв —
Ни женщины, ни стадионы,
Ему не отписан затратный бюджет,
Не властны ему батальоны,

Никто не подаст ему шарф и пальто,
Где нужник, ему не подскажет никто,
Доноса никто не напишет,
Никто его просто не слышит.

Но все же порой подгребет шестикрыл,
Который не зря эту жилу открыл,
Подержит за горло — и сгинет.
В глазах же героя и зги нет.

Лилия Газизова

ВЕРНАЯ РУТИНА

* * *

Камни лежат молча.
И нам бы, носителям снов,
Остановить столпотворение
Звуков и смыслов.
И, следуя синему пути
Всегда несовершенному,
Разглядеть на камнях
Свечение незнакомых букв.

* * *

Давайте покрасимся
В честный цвет
И все, как один,
Пойдем на баррикады,
Не знаю какие,
Но всегда в этом мире
Найдутся баррикады,
На которые надо пойти.

* * *

Все реже замирать
В ожидании чуда.
Но внимательно следить,
Как сумерки
Искажают реальность.
И помнить напряженно:
Все, что есть у меня,
Это верная рутина,

В которой кто-то шепчет:
Не падай, друг мой,
Слова не помогут подняться.

* * *

А города спешат,
Не оглядываясь на
Сиренью окаймленный день —
Живую блажь
Среди не радостей,
Не догадываясь о том,
Что их история пишется
На листьях деревьев.

* * *

Рассчитайся на главного
И остальных!
Этот мир не для слабаков.
Стань главным
И мочи остальных.
Ведь каждый здесь
На своем месте.
Никто не забыт.
Никто не обделен.
Посмертно.

Евгений Волков

ПРИДУТ СМОТЯЩИЕ С НЕБЕС

* * *

занималась над миром заря —

занималась

бог знает чем

я смотрел в темноту ноября
и в бездонное чрево ночей

не измерит тоски эхолот —

не положено ночи межи

и стекло запотевшее лжет
что я жив или пробую жить

я под робой живу сам не свой —

я не свой я наверное ваш

я луну умножаю на вой
и слова опускаю в фиксаж

конь сервирован конь на столе —

и синь оптики всё голубей

я брожу в густопсовой толпе
и ищу одиноких людей

я ищу одинокую плоть —

я ищу пустотелую клеть

где бы мог поселиться и петь
и скормить птице хлеба ломоть

я в числе приглашенных на пир —

жду кебаб или просто люлей

хох лома ты моя сувенир
для хороших и добрых людей...

ВОЗДУХ НА СТРУНЕ G

сидит на пятой точке третий рим —

где люпус эст не потому что ест

когда придут под именем твоим
за общаком смотрящие с небес

вставляя в жопу ключик заводной —

и транспарантом по небу шурша

под именем твоим придут за мной
любители общаться по душам

и долог день где тени как жираф —

но чтобы жить есть воздух на струне

и мне знаком тот самый божий раб
с которым буду говорить во сне

и поднимая чашу на пирах
не делать то что не всегда хочу —

коль смертный грех и старомодный трах
на все про все дадут еще чуть-чуть

останется любить молиться есть —

и быть по совместительству собой

и не пытаться выдумать и счесть
мгновений чудных с платой за постой

сосу существованья леденец —

не думая ни разу что потом

потом придут смотрящие с небес
под именем твоим за общаком

стучатся в скорлупу мою из вне
знакомые до боли типажи —

но чуден миг что все еще во мне

и на струне есть воздух

в точке джи...

* * *

в заповедной стране где со мною сурок —

посещает астрал и психолога

оживают железные звери дорог
и шпионы пришедшие с холода

и войны барабан различаем вполне —

и знамена бывлые подобраны

где подолгу гуляют при полной луне
доберманы и мэны не добрые

будь готов если ты не любимец богов —

привести свою жизнь в соответствие

с прикладным катехизисом сук и воров
и отдаться в любое отверстие

в заповедной стране где лукавый царек —

все никак не простится с любимой

на войну колобок катит лоб и лобок
и трактует на тракте с дубиной

и сбывается все что случится во сне —

стынут реки светлеющим оловом

мчат горячие люди на красном коне

спят на плахе прохладные головы

никуда не уходит земля из-под ног —

словно мстители неумолимые
оживают железные звери дорог

и меня окликают по имени...

Ирина Иванченко

ПОСЛЕДНЯЯ РОДИНА

ЗИМА

Элле Леус

Зима, зима от марта и до марта.
Ты помнишь, как мы жили до зимы?
На площади святого Дюрренматта
горят костры по случаю чумы.

Но гражданам ничто не угрожает,
когда пожарно лает каланча.
Мой муж — палач, примерный горожанин,
а я — жена простого палача.

Снегами сонный город околпачен,
но ветер стих, и вечер недалек.
Сосед-молочник и сосед-башмачник
захаживают к нам на огонек.

Я промолчу, а ты меня не слушай,
когда стоим, обнявшись, у дверей.
Воронья стая облепила грушу,
за нами надзирая из ветвей.

У здешних птиц — своя игра в молчанку.
Того гляди, накаркают беду.
Палач спешит на службу спозаранку,
застегивая куртку на ходу.

Звезда в окне — как бирка на подарке —
вот-вот слетит в рождественский носок.
Палач — он тот же лекарь: от подагры
избавит быстро выстрелом в висок.

Муж с петухами, ежась от дремоты,
встает и уменьшается в плечах.
Все чаще вызывают на работу
его условным стуком по ночам.

Блестит каток у Лысой водокачки,
весь в ссадинах под коркой слюдяной.
Сосед-молочник и сосед-башмачник
отводят взгляд, здороваясь со мной.

Чини белье, на ближнего не сетуй.
Неделю почтальон не кажет глаз,
но в ящике с воскресною газетой
белеет приглашение на казнь.

Бросая все — и утварь, и посуду,
молочник эмигрирует во тьму,
как будто возвращается оттуда,
откуда не вернуться никому.

Погожий полдень у зимы в заначке,
парует снег на бане водяной.
Три дня тому пропал сосед-башмачник,
а завтра кто-то явится за мной.

Зима нескоро разрешится мартом
в окрестные болота и пески.
Муж смажет дыбу кукурузным маслом,
чтоб петли не завывали от тоски.

Зима одна, как Санта вездесущий,
на всех, кто сомневается, что жив.
День прибывает за луной растущей,
к времянке ночи путь запорошив.

Зарывшись в сон, густой и черно-бурый,
мы спим, не зная: зиму напролет
Господь очеловечивает буквы
и сходство с нами слову придает.

* * *

Светает. Стихло. Птичий гам
укроет Киев одеялом.
Я различаю по глазам
того, кто вышел из подвала.

Светло, как в детстве, по ночам
от вспышек, падающих рядом.
Идет домой и ставит чай,
и смотрит поседевшим взглядом.

Подвал — спасибо, что не склеп, —
есть сгусток безопасной зоны.
Он стар, но может резать хлеб
в отряде самообороны.

Кораблик к дому своему
плывет в тоске исповедальной.
Что знают Сартр и Камю
про опыт экзистенциальный?

Горит на страже Верхний Вал.
Болит Желань в районе сердца.
И я иду за ним в подвал,
чтоб хоть немного отогреться.

И так не верится в тепле
и тишине недолгой, звонкой,
что я живу не на земле,
а в шаге от взрывной воронки.

* * *

Элле Леус с теплом

А теперь послушай о том, что из умных книг
не почерпнут ни зверь, ни моллюск, ни птица.
Ужас — тоже животное. Накорми,
обогрей, приласкай, видишь, как он боится.

Вот он свернулся жгутиком в животе,
лапки поджал, эмбриону души подобен.
Если ты помнишь, ужас приходит к тем,
кто изначально чист и внутри свободен.

Потому что из тех, кто полон мороком и слюдой,
ему ни за что не выйти, хрипя и тужась.
Он давно вошел в их тела, как к себе домой,
ибо они и есть настоящий ужас.

А твой звереныш — просто защитный спам.
Всякую тварь Господь создает зачем-то.
Защити его — и защитишься сам
под несущей стеною плача, зарей вечерней.

март 2022

* * *

Отгудела сирена, но длится пожарный вой,
запуская иной, разъедающий душу зуммер.
Этот грохот — он есть или чудится? Кто живой —
отзовись и скажи, что никто из друзей не умер.

Когда он заискрит — тот божественный свет в конце,
попрошу тишины, и еще, и еще тишины,
оттого что сетка морщин на моем лице
повторяет сегодня карту моей страны.

По утрам зашиваешь себя, словно рваный шов,
в каждой морщине — воронка расцветки хаки,
и подходишь к зеркалу, чтобы узнать, во Львов
прилетело ночью или бомбили Харьков.

Впереди зима, а запаса особо нет,
и голодные птицы, как дроны, летают низко.
Обесточен дом, но еще остается свет
изнутри, и его хватает на самых близких.

И когда он войдет — побеждающий мрак — в проем,
я скажу: спасибо, Боже, что шли вдвоем,
оттого что сетка морщин на лице моем
повторила карту боев.

* * *

В земном тепле, в плацкартной дольче вита
мне снится, если выдохнусь на час,
что где-то бродит дом, как пес побитый,
из всех щелей выглядывая нас.

Наука бегства, опыт выживания,
удавкой затянулась простыня,
мне снится: каждый выстрел в мирозданье —
прямое попадание в меня.

Летит вагон над тучею косматой,
дежурный свет командует отбой,
а дочь моя рисует дом крылатый
и крышу с покосившейся трубой.

Еще гоняет мяч команда зондер,
а дочь рисует пальцем по стеклу
огонь, вагон и дом на горизонте,
летающий следом в тлеющую мглу.

Летит обоз, в корзинах плачут дети,
 Мадонна держит небо на весу.
 Мы всюду дома, где на час приветят,
 где чашкой чая нас не обнесут.

О, сколько нас, упавших в эту реку.
 Пока бегу, я все-таки живу,
 любя, как подобает человеку,
 но видятся — во сне ли, наяву —

калашный ряд, ночные аты-баты,
 колонны, уходящие во мглу,
 где дочь моя рисует дом крылатый
 и ветер, пробежавший по стеклу.

* * *

в этом пряничном кукольном где-то на севере где-то
 мы как гости непрошены не по погоде одеты
 пролетев над полями и Бучами всеми Европами
 мы не птицы
 завидев зерно только крыльями хлопаем

и десятки и тыщи за нами по беглому следу
 наши дети уже не играют в войну и победу
 и пока разбивает гнездо недобитая стая
 наши дети еще не живут но уже не играют

каждый сам по себе на постели чужой а на деле
 это сотни сердечек в одном обнулившемся теле
 и на теле страны мы зияем как общая рана
 и по стенкам сосудов стекает вода из-под крана

наше тело из глины а души как тени бескровны
 но терновник и лавр обнялись за оградой церковной
 здесь токкатой и фугой начинается месса вечерняя
 мы обнимем друг друга слова потеряли значение

наше тело смахнули не глядя с гончарного круга
наше общее дело держать не теряя друг друга
в этой стыдной тоске в стадных поисках крова и пищи
оттого что любовь своего и чужого не ищет

оттого что любовь милосердствует и согревает
мы обнимем любого кто прибыл из ада и рая
очагом для него якорями его парусами
оттого что последняя родина это мы сами

оттого что не пыль перекатная пепел залетный
нас любовь выбирает из прочих детей и животных
и родная земля под ногтями и небо на блюде
оттого что не пепел а все-таки все еще люди

* * *

Вернеру Летцу, с теплом

1

В глиняном горле трепещет, но все же поет.
Все еще ищет опору на каждой развилке.
Кто обжигает гортань, укрепляя ее?
Слово немецкое выпорхнет ласточкой Рильке.

Музыка азбуки, нотный ее алфавит.
Сам не заметишь, как выдохнешь без подготовки
тысячу ласковых «ша», — так душа шерудит
зимнею мышью в своей потаенной кладовке.

Кажется, здесь я когда-то уже, но потом
я разучилась на этом курлычущем, щедром.
Дом, пусть на час, это все-таки кров с молоком,
детской кроваткой, звездой над окошком крещенским.

2

Что не забудешь? О чем еще помнить и петь?
 Прошлым и будущим тяжело груженные лодки,
 страх под подушкой, купейная душная клеть,
 эти воздушные ямочки на подбородке.

Что ты забыла на этой дождливой земле?
 В тощей медвежьей норе, на худом полустанке?
 Многие беды, в чужом оживая тепле.
 Все, чем могу, я вложила в короткое Danke

за тишину и неистовый свист поездов,
 клекот высокий под небом свободным и чистым.
 Дом, там, где горькой слюною скрепляешь гнездо,
 где, просыпаясь, щебечет птенец золотистый.

* * *

молока и меда
 меда и молока
 хлеба тепла и быть может вечерний воздух
 Господи не оскудеет твоя рука
 сколько бы раз в нее ни вбивали гвозди

молока и хлеба и может глоток вина
 плед потеплее укрыться от вечной стужи
 что там на завтрак у смерти война война
 голод в обед и уныние сытный ужин

где на земле найдется тебе приют
 где поселить семью и пробыть до срока
 родина это жизнь и ее живут
 и проживают вместе и одиноко

писем стихов и быть может морской прибор
 места кораблику в тихой и звездной гавани
 родина это то что беру с собой
 в самое дальнее самое позднее плаванье

меда тепла и быть может еще любви
смерть закрепила прочно в черте оседлой
руки ее по локоть в моей крови
но коротки они чтоб достать до сердца

хлеб из печи материнское молоко
жизни для тех кто смертен
бессмертья родине
Ты что над водами рядом и высоко
над городами твердью людьми народами

Анна Маркина

ТУМАН

* * *

Белый мякиш на стене —
Ничего не видно мне.
Говорят — туман всего лишь,
Будь с туманом на волне.

Пей себе слоновий чай,
Ничего не замечай.
А заметишь — так туманно
Просто головой качай.

Отвернись и будь таков.
Войско белых ходоков
У чужой двери пока что.
Спрячь, туман, нас дураков.

* * *

Это было ранение лета,
Лебединая дрожь тетивы,
Желтый обморок хрупкой листвы,
Серый ропот оконного света.

И потом с сентября до апреля —
Как в гробу, мы дремали темно.
Уколовшись о веретено,
Спал под ворохом тезисов Ленин.

Длился сон, всю страну охвативший,
Словно замерли в белом снегу.
Я простить никого не могу.
Тише, сердце безумное, тише.

Нам не будет, не будет покоя —
Ни приюта, ни хлебных полей.
Будет только один мавзолей,
А вокруг только минное поле.

* * *

Словно камень в реку, в холодную тишину
я бросаю слово — оно уходит на глубину,
И сгорает оно, оголенное, со стыда,
и ласкает его нелюбящая вода.
Для кого оно, несъедобный такой улов?
Через толщу времени смотрит мой камень-слов,
ждет, когда приберет всевидящая рука
над водой стоящего рыбака.

* * *

Нейроны держат на весу
работу в мысленном лесу.

Там ветер ходит без умолку,
там Чехов дергает струну.
И тело мысленного волка
устало воет на луну.

Ловись, всезначащая рыбка,
в речной холодной суете!
Сидит замерзший волк с улыбкой
и рыбку тянет на хвосте.

Вита Штивельман

ВОЙНА И МИР

* * *

аты-баты шли солдаты
не ходи на войну сынок
не ходи на войну
умирать тебе не пришел срок
убивать тебе не пришел срок
во чужую не ходи сторону

аты-баты ружьями богаты
вот опять нескончаемый строй
одинаковых ног сапог
и безглазых лиц и бессловных ртов
не ходи на войну сынок

аты-баты сожженные хаты
кто в колонну тебя поволок
кто тебе затуманил глаза
брата брата убьешь на войне сынок
не ходи на войну нельзя

аты-баты — была считалочка наша когда-то
ты волшебный ребенок был
как я ждала, под сердцем носила тебя
а теперь у меня нет сил нет больше сил
левой-правой — ты повторяешь урок
день и ночь твердят солдаты урок
день и ночь твердят

вот у дерева кружит птица а гнезда-то нет
не зови птенцов не зови
нет птенцов как нет их простыл и след
как ты будешь ходить по земле сынок
как ты будешь ходить по крови

ты не слышишь меня ты идешь на войну
ты любил зверюшек и птиц когда-то
подбирал и выхаживал их если мог
а теперь сеешь смерть — говоришь — так надо
потому что команда — и аты-баты
проклинают ведь люди тебя сынок
да и я тебя прокляну

* * *

Мой дед Давид погиб в сорок втором.
Он был сапером — адова работа.
Могилы нет, не сохранился дом.
Погиб, отвоевав чуть больше года.

Жена и дочь остались, бог помог.
Хотя Давид не уповал на бога.
Он защищал от запада восток —
тогда не приходила смерть с востока.

А бабка умерла не так давно,
прожив почти сто лет. И дозу яда
хранила у себя: а вдруг войной
опять все рухнет. Чтобы Сталинграда

не видеть больше. Бабка медсестрой
работала тогда. В ее кошмарах
навечно поселились кровь и гной,
тела убитых, молодых и старых.

Я вижу бабку иногда во сне,
мы разговариваем с ней, чуть слышно.
А наяву — есть фото на стене,
военный орден, орденская книжка.

На фото выцветшем, как сквозь туман,
дед с бабушкой — живые, молодые.
Тарутино, Петровка, Аккерман —
вот это были их места родные.

По тем краям сегодня град ракет,
как в сорок первом, как же все похоже.
Я рада, что не видит это дед.
Что бабки нет в живых, я рада тоже.

УБЕЖИЩЕ

Убежище это успело меня изучить.
Конечно успело, ведь я здесь давно обитаю.
Поэтому вечером свет подается из лампы,
а утром к принятию света готово окно.

Узор занавесок подскажет любую мечту,
а если захочется плакать, на то и подушка.
Рядами построились разноязыкие книги:
бесменная стража моя охраняет меня.

Когда на экране пугающий триллер идет,
то комната эта подыгрывать действию рада:
шевелиятся длинные тени, скрипит половица,
и капает тихо и жутко из крана вода.

Однако сегодня мне выпал особенный день,
и вместе со мной напружинилось это пространство.
Оно выгоняет меня, ведь оно понимает —
пора мне в дорогу, в большой беспорядочный мир.

Елена Севрюгина

СФЕРА НЕОЧЕВИДНОГО

ЭНТРОПИЯ

я стираю твой образ
тыльной стороной ладони
провожу по глазам
чтобы больше тебя не видеть
так спокойней так легче думать
что знакомое мне лицо
навсегда утонуло в мешочке слезном
я снимаю твой оттиск
со стены где хранится память
чтобы в дом возвратилось время
о котором почти забыла
в суматохе тревожных мыслей
никогда навсегда
по ночам ко мне приходящих
и тогда напуганный метрономом
мир остается миром
дом остается домом
дверь остается дверью
окна и стены более не порталы
за которыми нечто
о чем неприлично людям
о чем так обычно небу
твоему моему чужому...

я стираю тебя а ты остаешься
и тебя становится больше
оттого что уже невидим
и уже почти неведим

* * *

что человек?

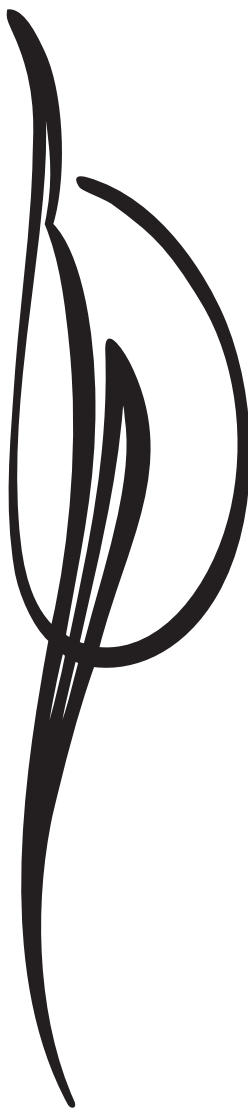
память, колющая внутри,
шепот воды и ветра —
такая малость
не забывай, смотри,
мысленно повтори
имя мое слово мое
чтобы я осталась
и неважно уже
за какой стеной
за какой волной
буду я находиться
не уходи — будь со мной,
говори со мной
дай мне опять родиться
и пускай у морей
ослепнут все маяки
отживет земля
и ее миллионы версий
я как прежде там
на той стороне реки
где на склоне горы
цветет шелковистый персик
в час когда на своем хвосте
неблагую весть
принесет из леса
призрачная сорока
приходи сюда
навсегда оставайся здесь
потому что любовь и свет
не имеют срока
не имеют земного срока

* * *

на втором этаже
местного торгового центра
бабушка-корейка
вяжет внуку белые русские варежки
рядышком палки для шведской ходьбы

милота да и только —
коридоры кишат людьми
местными и приезжими
постоянными и случайными
люди поднимаются вверх / опускаются вниз
опускаются вниз / поднимаются вверх
опускаются вверх / поднимаются вниз
вверх/вниз вверх/вниз вверх... вниз...
это пчелиный улей
беспорядочный рой
нескончаемый хаос
но это только так кажется —
если настроить зрение
к миру лежащему в сфере неочевидного
можно увидеть лестницу
ведущую прямо к асгарду
к исполинскому ясеню
к дереву иггдрасиль чьи могучие корни
соединяют небо землю и преисподнюю
сохраняют хрупкое равновесие
пока звон спиц в морщинистых пальцах
перекрывает набат самых громких колоколов
гул самых страшных орудий
лязг самых прочных цепей
шум самых нелепых приказов

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



*Шамшад Абдуллаев***ЯЗЪЯВАН**

С окрестных террас одноэтажного предместья доносится запах зарезанной дыни, и молодая женщина в шифоновом платье выскакивает из летней кухни, притулившейся в конце обширного двора на подметенном с утра бугристом клочке бесцементной земли в форме глинобитного, безоконного пенала с распахнутой настежь двустворчатой дверью, бежит через кукурузное поле (1960 год) к садовой яме глубиной в пять метров, наполненной водой, к мутному хаузу¹, на глинистом дне которого двумя днями раньше лежал угрюмый нептунов пес, неподвижно висел в подводной тьме громадной одиночеством сумрачный сырдарьинский сом, пока не рассекся несколько раз на мякотные яства для партийных гостей в белых, накрахмаленных рубашках (сегодня таких не сыщешь днем с огнем — чистый хлопок и молочный шелк). Где-то в стенной нише блеснул и тут же погас пепельный блик — по его промельку наблюдатель мог бы решить, что это зернистая светотень угольно-черной птицы с желтым клювом срезала нижний угол съемки слева направо. Секундой позже в открытом окне повторился перистый отсверк, свернувшийся в овально-темный ком в отдалении, за дощатой перекладиной резной веранды, в углу сорняковой, заброшенной делянки, в сыпучем зажиме двух дувалов, пока вы ехали втроем мимо графитно-рыжих полупустынь, подначивая друг друга настырностью забытых реплик столетней давности, — ты читал «Бустон» Саади, нет, я читал «Гулистон» Саади, — с кайфом перекачивали во рту сладкий шарик, этот джадидский пароль, словно сбрызнутый щекоткой, словно чьи-то босые ноги, свободные под топчаном от плетеных сандалий, пресмыкались в ячеистой горке пухлой пыли. Вскорости подул жаркий и острый ветер на пять секунд, и какие-то ломкие, костистые полевые всходы задрожали по периметру будто сморившихся со своей лежалой многогектарностью вековых солончаков и немедля замерли в двух сантиметрах от свыкшейся с ними трепетной беглости, паразитирующей в прокаленной

¹ Хауз (узб.) — пруд, водоем, бассейн. Здесь и далее — прим. авт.

солнцем воздушной акустике за городской чертой, где моментально начинаются, как обрывы, пустые места, похожие на руины постоянно тлеющего зияния. Потом Мун моргнул, словно памиро-алайские горы на южном горизонте пересек выпущенный только что из клетки кеклик, и ты спросил его, не помнишь, как звали вокалистку Breakout, Малгожата, Ева, Халина (хотя мысленно находился в этот момент в середине комнаты своего детства и уже поджидал себя на мерцающем под полуденным солнцем дверном пороге, на который смотрел, готовый вот-вот спуститься с кирпичных, входных ступенек в прохладу фруктового сада), — Мира, говорит Мун, Кобачинская, говорит он. Чуть позже вновь подул горячий ветер, гармсилль, на три секунды, завихрился на ваших глазах бечевочным столбом, скрюченным вверх пыльным тряпьем и сник в лучах лета, словно подобрал с земли милоть Илии, улетевшего прочь. Все-таки договорились ехать втроем в обшарпанные места щемящих утрат, находящихся теперь во времени, в прошлом, и с этой пронзительной светоносностью минувшего, настигающего нас на склоне лет со спины, согласятся даже филателисты средней руки, знатоки малых географических подробностей и близких провинций без фанатичной регионалистики в таких случаях. Собрались ехать втроем к наилегчайшей земле твоих первых видений, твоих первых светло-сочных агглютинаций карлукских окликов прямо в сердце кишлачной периферии, втроем, словно классическая рок-skupina, что-то вроде грэндфанковских Шачера, Брюэра, Фарнера, или Хендрикса, Митчелла, Реддинга, или Брюса, Бейкера и Клэптона, или Муна, тебя и «доброе, как хлеб» (остроумное погоняло, давным-давно придуманное кем-то из мессинских неореалистов). Кто-то дал ему в ранней юности такую кликуху, смаживающую на бесноватую кротость в разгар земного пиршества, — ведь был он донельзя наивен и по сю пору тем же остался, эпикурейским лохом среди кишаших всюду мудрых змей прочного материализма. Мун вызвался немедля сесть за руль (как перкуссионист The Who, ладивший с набатной дробью луноликих дойр и до скончания своих дней с открытым лицом счастливых существ отбивавший мерную и хлесткую пылкость сквозь устремленный книзу барабанный конус), так как отличался крепким здоровьем и слово «сломлен» оставил в дальних участках своих туманных фобий. К третьему же (к тебе) участнику состоявшейся в понедельник, 20 июля, автомобильной поезд-

ки пристало наждачное мнение «шизик», хотя столь когтисто-шершаво меченный персонаж скорее ощущал себя некой анемичной неодоушевленностью, чем помешанным. К тому же в декабрьской прохладе слышен треск чего-то истероидно-сохлого, кликушеский хруст трехголосой саранчи. Три троллеподобные хозяйки твоего последнего пристанища морщатся над твоим телом в церемониальном лицедействе безлюбых плакальщиц, привечая твое крепнущее оцепенение садистски-злорадным стенанием дряхлых, безмужних домовниц патриархального квартала. Затхлое помещение; знобит; зима; три мойры впиваются в лежащего на ковре занозистой слежкой, колючей придурью сектантских молений; руки не опустить в трупном окаменении, затвердели, не гнутся, тянутся, как две ветки, к неслучившемуся объятию пустого силуэта; мертвый майский жук, повернутый на спину; метнувшиеся вверх лапки застыли, бесчестят давнюю весну; комнатный грот; алвидо, янги мехмон, йок, хали тирик¹, царапает спальню трехголосье скрипучих ведьм. После чего моментально вновь погружаешься в теплый свет, на десять лет назад; он теперь (стоявший прежде за твоей спиной, двойник, целительная десница на твоём затылке, твой ангел-хранитель) прикорнул впереди, невидимый, зардел на долю секунды горней искрой за твоими глазами яблоками и, не мешкая ничуть, пропал в зареве складчатого надира; впрочем, Мун восседает за рулем, а справа затылок «доброе, как хлеб» заслонил диагональ лобового экрана в солнечных вспышках. Улицы с обеих сторон липнут к машине, вьются по краям трассы — не столько пустынно, сколько необитаемы, хотя на заднем стекле сжимается ваш город, о котором тоже сейчас можно сказать словами Эмиля Чорана о Молдавии, «рай для неврастеников» Почему бы нет? В полдень собрались ехать втроем в Язъяван², где только жительствоует натуральность, противясь именам чужого вымысла, как хочется верить сломленным психопатам в больших столицах, — собрались ехать в полдень, когда предместье безлюдно в долине, и ты смахнул волосы со лба, словно кто-то впереди простерся ниц, но

¹ Прощай, новый гость, нет, он еще жив (узб.). «Новый гость» — только что умерший.

² Язъяван — патриархальный, полусельский городок в Ферганской долине.

взамен молитвенной позы — там, где должен быть алтарь, — два пацана бежали наперегонки к рыночной площади. Колобки солнечного света, уплощаясь и ширясь, катились вверх-вниз по выбеленному дувалу, будто радужные следы меняли свой орнамент в трубчатом калейдоскопе, будто немая сова корчила рожи в полете сквозь чехарду лучей, снятая в рапиде камерой какого-нибудь Карло Ди Пальмы. Где же находился тот дом якобы пасторального миролюбия (длинные дома френчо-кительных секретарей ломтевидных райкомов партии, Бувайдинского, Кувинского, Риштанского, — нет, не было таких в шестидесятом году, кроме Ферганского, — на улицах туркестанских просветителей, Бехбуди, Кадыри, Фурката, Иззата Султана, Кары-Ниязова) — на улице Фурката, конечно же, в сиянии фисташковой рощи? Дарья¹, пустошь, адыр, холм, покатый луг, покрытый разнотравьем, — бабочки пестрели кругом, лучшие мозаичисты центральной Ферганы: Кумкышлок, Сувлиарык, Хонабад, Каратепа², полузабытые яства топографических капищ и древесных фонем. Тем временем где-то в горной речке шумела вода, и двухэтажный дом бирюзового цвета, построенный японскими военнопленными в конце сороковых годов прошлого века, всплыл вдруг сквозь солнечный туман в устье Маргелан-сая как предчувствие римских колонн, ждущих путника дальше, за поворотом береговой аллеи (ты тут же вспомнил, как Лидия в фильме «Ночь» переходит дорогу там, где не положено, — чтоб ощутить счастье, как в те времена, в ранние пятидесятые, когда пригородный люд не соблюдал дорожных правил, не стесненный натаской добродетельных схем и аккуратного благочиния). Ты уже видел эту сцену в далеких мирах прежней жизни? Вернее — какие-то кадры, сами собой припоминающиеся из куликашно-калошной летучести в тиглях лета: велосипед, как-то криво прислоненный к стене, словно он дичился своей неподвижности, — колокольчик на рулевом сгибе блестел под солнцем; бритоголовый дехканин в белой нательной рубашке, замерший на фоне пшеничного поля, и взгляд его тоже застыл, как стяг, над узловатой стерней в рыхлом безветрии, пахнущем горстью серебристых коконов; серая

¹ Дарья (тадж.) — река.

² Кумкышлок, Сувлиарык, Хонабад, Каратепа — названия кишлаков и селений в Ферганской области.

бабочка, севшая на серый булыжник и заставляющая тебя, смотрящего, причислить ее мимикрию к пористому, каменному столбняку; безмускульные, смуглые подростки, вдвоем, втроем, вчетвером пересекавшие хитиновую тень камышового кургана и на ходу перечислявшие какие-то дикие названия мифических мопедов: фирдавс, дон сезар де базан без красной шпаги, ява, дао, пабло, бро, ламбретта. Чуть позже (дальше пронеслись на машине мимо бороздчатого полотна мазарской¹ башни, и на резком повороте зеркало заднего вида полоснуло желчно-желтый стык кладбищенского дувала, похожего на маргеланскую халву, которая в любой сезон естся лучшей тюркской усладой; вкусные гроздьи этой сыпучей, сахаристой массы какого-то коричнево-бурого, сарацинского окраса в навозно-золотистых, оспенно-медных, приторных струпьях ты уплетал как-то раз почти пятьдесят лет назад в обе щеки за письменным столом в кабинете отца в шестнадцать лет и сочинял для областной газеты «Коммуна» статью о Генрихе фон Клейсте, но внезапно понял прямо в середине той затерявшейся в газетном хламе вычурной заметки: лучшее — то, что еще не создано, точнее, то, что никогда не будет создано, озарение для провинциального птенца) брызги седловатых бактерий над лоснящейся дорогой стерлись, когда заискрился на переднем плане хинно-серый птах. В конце сдвоенных улиц и впрямь что-то запестрело размером с мизинец, сплющенное застекленным расстоянием в боковом окне, и не посмотреть туда мерещилось нестерпимым, словно тебе предстояло не крикнуть в колодец, искандарни шохи бор² (сполох в сторонке пальчатой молнии держался восемь секунд в твоем виске: узкоглазая дехканка? беспыльная листва пышного карагача? гравийный спуск?), — у, короче, Македонского на голове растут рога, народная этимология, вольный стиль стихии, психоз индоарийских низов и так далее. Между тем справа волнилась сорняковая полупустыня, а слева трухлявый чигирь желобчатым бревном с затверженной плавностью плашмя падал на пенную, вряд ли журчащую, мерно текущую поверхность глинистого арыка. В каком-то смысле все подчинялось, — шелест и вращение шин,

¹ *Мазар* — кладбище в Средней Азии.

² На голове у Искандера растут рога (узб). Фраза из народной ирано-тюркской легенды об Александре Македонском.

мякотная вибрация приборной доски и ваши мысли в том числе сквозь гулкую дрему, — неспешному, трезво-апатичному, синхронному шествию всей долины. Так что ты не выдержал и сказал, только вы вдвоем у меня уцелели, только вы вдвоем, все сгнули, другие друзья, и нет их насовсем в никаком воздухе, сказал и смотришь им в спины, целую минуту ждешь, их спины молчат, смотришь и ждешь, пока до тебя не доходит, что ты лишь подумал об «этом», о том, на что хотел услышать ответ, — ведь они молчали; ты просто, выходит, произнес про себя этот вопрос, и безглазые, бархатистые, тонкорунные микроорганизмы ветвились по ямчатому береговому позвоночнику Большого Андижанского канала, когда Мун остановил машину около двух тополей. Тормоз. Дверцы хлопнули; три хлопка; взгляд сползает с холма в ложбину, вниз, где курится овальная, совершенно безлюдная чайхана; под крайней тахтой для гостей вместо водопроводного крана бьется булак¹, чья влага на три мгновения свертывается, как ртутные ягодки, в лодочках ладоней, не выхлестывающих по-суннитски во все стороны драгоценные капли. Немного ниже, еще ниже, в подошве тростниковой горки, маслянисто поблескивают борозды взрыленной земли, вывернутый гумус, чьи ломти чинно не видят в упор полевых червей, отползающих будто спинами к боковым складкам сутулых (вы спустились к выщербленным, цементным островкам перед чайханой, имитирующим остатки всеми забытого тротуара, на котором лежали фиолетовые лепестки птичьего помета, как метастазы сугубо июльской неподвижности) глин и подпочвенных волокон. Все равно перед вами расплелся вид как вид, вполне присущий захолустной здешности, что никуда не делась под стопой по крайней мере пяти поколений, сюда попавших. Вам довелось, наконец, сейчас усесться на шестиспинном топчане, тщательно (не дольше и не тщетней двух *пассов* Диди суглового или двух дриблинговых *на* Вава 1958 года), как бы ненасытно и всласть приноравливаясь с единственным вздохом облегченья к позе покоя по краю стеганого одеяла перед узорчатым, льняным дастарханом и свесив ноги с поперечного барьера над плетеными сандалиями, которые, мягким топотком и коротким шлепком отделившись от вас, остались в глухой глуши, глубоко под вами, на дне долины, пресмыкаясь

¹ Булак (узб.) — родник.

в комьях пыли. Казалось, из пепла восстали три неуклюжие птицы додо, сторожко встречающие кроткими и пухлыми боками без стопа, без клетота, без колыхания пышных перьев белесых конкистадоров в пороховых доспехах. Кто же съест вас — толедский маляр, венецианский барыга, гаагский каноник или свой косноязычный басурманин, прикинувшийся натуральным фарангом в свирепом, аггировском шлеме? Грезы впроголодь? Либо страх не отломить зараз три дымящиеся лепешки? Вряд ли... В довершение всего, возле входных арок этой предгорной забегаловки две щели тускло сверлили чудом сохранившийся с аббасидской эпохи пигмейский дувал, как если б ящерица спала с открытыми глазами сквозь увеличительное стекло на песчаных пигментах пологой поляны, как если б на заднем дворе по-прежнему пустой чайханы что-то крошечное сверкнуло дважды и потухло один раз, — на самом деле среди глотательных гримас арычных волн у первой черты ближайшей местности набухло крохотное, клейкое, отечное созвездие и лопнуло, как переливчатый наперсток из недр всецело твоей памяти, как джаннат ёзда¹, когда пробуждение летом 1960 года лучилось каждое утро на полированном столбе тутовой террасы («эти лазурные дни и солнце моего детства», Антонио Мачадо, — босоногий стих, сбитый насмерть щемящей хлябью кастильской ностальгии: яростный, осколочный блик солярной записи на клочке клетчатой бумаги, найденном в кармане *его* пальто в 1939 году на пиренейской тропе). Но сейчас в углу узкого уличного коридора виден камень, полностью неподвижный, и рядом с ним валяется, наверно, весь год, иной раз едва шевелясь на июльском сквозняке, целлофановый пакет, словно просто вспоминая о своей неподвижности сквозь волосяной свет сгущающейся духоты под саманной стеной; тутовая ветка на переднем плане, выделенная твоим отсутствием в глубине кадра, долго-долго вровень с дневной явью трясется, будто не подвернется шанс ей впредь опираться на пустую перспективу за собой; более того, воробей садится на ломкую линию черной шелковицы и тотчас, не вписавшись в свое оцепенение, спрыгивает с ветки. Кажется, вещи тут из последних сил стараются наблюдателю преподнести свою неодолимую зримость. Такое впечатление, что кругом что-то изловчилось предстать

¹ В летнем раю (узб.).

достоверностью, получило зачем-то привилегию сказаться — потерявшаяся в земной магме шальная случайность, не предусмотренная никаким жребием, который успел по этой причине отпасовать ее бытию. Затем, как неизбежность, они (вы) сели в машину и поехали вглубь долины, не оглядываясь назад, на свой город, который изменился панически быстро (исключительно для тех, кто любил ее прохладную, мирную светотень, раздавленную в одночасье безвкусно-бетонной гидрой), точно златоуст стал заикаться, точно Иисуса когда-то сыграл тот же актер (некогда сублильный, голубоглазый и молодой, ныне безобразная рухлядь, пропойца в засаленной лохме), который спустя три года после съемок с ним же понадобился для роли Иуды, неузнанный и обнаруженный в мусорной канаве, и с этим голимым алкашом режиссеру пришлось репетировать ту сцену, где ученик говорит, Равви, зачем эта женщина тратит так много масла на Твои волосы, которые дивно блестят под солнцем и без ее расточительных усилий, и т.д. Или это вовсе не происходило никогда? И ты их выдумал (как своего рода муштру безопытности, как затянувшийся дебют порывистого инстинкта, позвавшего тебя наугад и ощупью однажды спуститься с верандных ступенек в сухую тьму ночного сада в дебрях сорняковых зарослей и мутных развалин, где в летний полдень обычно слышишь запах мочи, но не замечаешь его), неких толпящихся эфирно внутри тебя фиксатых лавочников, управляющих многоголовым, маргинально-полицейским змеем, зеленую тишь идиллического городка, в котором ты родился? Плюс, впрочем, покрашенный известью, бельмастый дувал провожает гудящий в терновом зареве, проклятый солнцем капот и многошинные копыта вашего метнувшегося к шоссе урчащего минотавра — провожает млечным, щетинистым мазком, в котором плыли, как в лакмусовой бумаге, топчан, льняная скатерть почему-то в кыпчакских, узорчатых рожках и травянистых вышивках, чайник, три лепешки, желтый плов с изюмом, ташкентский, сушеный урюк, шесть штук в керамической ладье, сушеные финики, двенадцать штук, в глиняной лодочке, маргеланский бурамаканд¹, полосатый крендель, семь штук, в керамической ладье, три гуль-самсы в форме пропеченного мака в глиняной лодочке, коричневый каймак в бугристой пи-

¹ *Бурамаканд (узб.)* — конфеты в форме спирали.

але оливкового цвета, красный калампыр¹, измельченный в сиревом блюде, пурпурно-снежный салат, именуемый в твоей долине «сладкой водой» (шакароб, на фарси), словно твоими губами зацелован за полвздоха весь мед из сасанидской амфоры, — в синей, китайской, крутовогнутой чаше, крупные фисташки, как горсть игральных костей, кем-то давно брошенных по периметру светлого, крахмального, хрустящего дастархана в каемчатых воздушных брызгах июльского дня. А в боковых окнах уже промелькивали, как теперь водится, не хлопковые поля, но глинобитные проулки без людей и собак (сплошной, снова тупиковый, лаз), антропоморфно выбегающие наружу, к трассе, и, замедляя бег, отстающие от вас на повороте, сзади, будто они махнули рукой на свою участь и примирились со своей неудачей, будто твоим телом оставленные в пути, замешкавшиеся пустоты представляли собой, в основном, места, промахнувшиеся в тебя или в кого-то другого. Там же, в заднем стекле, продолжали рваться клочья ровно-го, песчаного пейзажа: степные впадины, плавные сгибы вправо-влево скользящих, оплывая друг друга, нарывчатых полупустынь, адырный мыс, нависший над лепестками битых ракушек в доисторическом заливе, над призраком Сарматского моря. В отдалении, под леской восточного горизонта, парил сизо-карбидный пух — это, возможно, фермерский хлев, уменьшенный расстоянием, бросал вызов своей сирой блеклостью необъятной одичалости окрест, как пришибленный склеп в обширности степного чистилища, как выдавленный зачем-то временем из внутренностей евразийского континента на ландшафтную поверхность ни на что не годный, серый каяк, похожий, в свою очередь, на полвека назад найденный в Ахсыкете прототюркский чирок², на забытую всеми и вся миниатюрную кость в горле гигантской, ликантропной цивилизации. Встречавшиеся тут и там срезы сыпучего бесформия сулили то резкий обрыв, то отвесный винт какого-нибудь всхолмья, не досверленного, словно сквозь пуп земли, до журчащего каньона, в котором хрипло пела свою тысячелетнюю монотонность клинчатая Дарья в мятых, зыбких волнах. В принципе, пространство нигде в этих участках не меняется, куда бы вы ни заехали, — это как осмотрительность стены, ни

¹ *Калампыр (узб.)* — стручковый перец.

² *Чирок* — глиняная свеча.

в коей мере не смещаться в сторону ни на дюйм и стоять там, где ей случилось стоять: ее теперешность начинается и вершится именно таким стоянием. Рядом, справа и слева, по бокам мчавшейся на улицу Фурката в Язъяван вашей машины, как и раньше в летнем пекле, солнце шлифовало в зените зноя (в засушливой атмосфере забываешь о не-своем) выбеленные, фасадные попоны приземистых, пахсовых жилищ, разбросанных по котловине, как шашечные фишки после игры в «чапая», — солнце пронизывало их до крайних, темных и душных, помещений, выкуривая наружу, на выжигающую вольность дремотную непроницаемость из (комнатные предметы, кстати, в этих мазанках только в полдень могли очертиться на фоне двух распахнутых окон, невероятно ясные, чересчур четкие, и вряд ли им еще нужна была толика интенсивного света, чтобы дать их изоляции и спрятанности лишнюю огласку) бесхозных, прокисших, выцветших каморок с одуряющим, спертым, ватно-дрожжевым, древним, войлочным воздухом. Впереди голая земля преображалась и вращалась в кустарник, или в тополиную рощу, или в курган, или в безводную сернистость ирригационной траншеи по кромке желчной, едкой почвы, как неполная, пестрая амуниция долинной картографии. Первым не выдержал бесшумной скорости Мун — в пике ноющей встречной спячке, питаемой клубящимся до стрельчатого небосклона кишлачным автобаном, он хлестко стряхнул с себя сладчайшую оторопь и говорит (медное полотно, боковой экран, оконный рычаг, золотистый курган, заползающий, как большой скарабей, по губчатому наклону собственной тени вверх, на свою же кёк-тепа¹), ты читал «Бустон» Саади, и держит руль одной левой, потом одной правой (в этом случае закон Кандинского не действует: левое не ведет в даль, а правое не возвращается в нижнюю часть выжженной местности, домой), в общем, спрашивает, ты читал «Бустон» Саади, нет говоришь, я читал «Гулистон» Саади, — друзья, чтоб не уснуть, кинжалили друг друга издевкой, абсурдистской крестословицей столетней давности; вскоре, спустя полминуты, Мун затылком вместо одного раза дважды кивает вправо, на «доброе, как хлеб», почему, говорит, он молчит, — пауза, долгая пауза, карагач иссохшим в пыльном костре листовным нимбом быстро процокал мимо и пропал

¹ *Кёк-тепа* (тюрк.) — зеленая вершина; возвышенность.

в своих же выгоревших до звякающих сердечек золистых кристаллах, словно кто-то рядом выплюнул насвай двойным резким выдохом, *тцах, тцах*, но затылочный бугорок в третий раз кивает осторожно на него, «доброе, как хлеб», почему он молчит, да так, отвечает тот не лениво и не бодро, давление поднялось (о, говорит, азартно Мун, все красное, включая революцию, разжижает кровь: сырая свекла, стручковый перец, киргизский коньяк, поэзия индейцев в резервации), красное полусухое, думаешь, допустим, урожай 1970 года, бутылка потеет в паутиной оплетке с тех пор, как Джанни Ривера забил гол в полуфинале чемпионата мира по футболу немцам, ладно, думаешь, бутылка в соломенной фиаске, но что я скажу «старухе» (тогда ведь ей, в шестидесятом, исполнилось пять) после стольких лет, безжалостно вертких, как во сне, даже две капли воды не утекли, помните, скажешь, кареглазого мальчика в матроске, вы его спасли, не дали ему утонуть, худоим (боже мой), скажет она, высверливая из тебя ангелоподобного барчука, в одночасье (не успели моргнуть ни ты, ни она), в мгновение ока одряхлевшего в средоточии дынного, благоухающего лета, бу сизми (это вы?), а ты между тем, улыбаясь, будешь стоять на пешей, выщербленной полосе перед ее калиткой и стараться изо всех сил не слышать, как неподалеку мутно и глухо содрогается не выключенный мотор, будто заполняющий ядовитую заминку какого-то некрофильского саспенса. Однажды на бледно-желтом с палевым прогалом кукурузном султанчике замер пятнистый, разноцветный жук размером с левый мизинец пятилетней девочки. Карима ее зовут. Нет, звали в 1960 году. Детские игры во дворе девятикомнатного дома твоих родителей, и соседская девочка, дочь добрейшего колхозника, вызвалась в тенистый понедельник под виноградной шпалерой поиграть с тобой в куликашки, вдвоем, — ты ищешь ее вдоль дувала, прерывающегося овальным прудом в лучистых головастиках и огнистых пузырях, который удерживает в своей емкости, как шейбанидский ноздреватый сосуд, застойную, липкую, чешуйчатую воду в полуденной духоте, но ты спотыкаешься и падаешь в бассейн, будто нарочно ныряешь в хауз пятками вверх, и вода стремительно зарастает бесшовной пленкой над тобой, не зыблемая вообще весом твоего тельца, замыкается мутным, червивым разглаживанием ленточных стежков, подслеповато глядящих в пропасть, от которой разит рубцеватой сыростью большой рыбы, чей

зев забит донной слизью, — пруд примерно полчаса кружится, планирует сквозь складки микробной прозрачности над пятиметровой, тугоухой дырой подводной скуки. Внезапно хлынул ливневый дождь и сразу прекратился; Мун сбавил ход, на семь секунд свернул к обочине и вскорости, будто по сценарию, который следует за раскадровкой часового механизма до эпизодического микрона, до мимического грана, выехал к середине асфальтовой дороги и двинулся в даль, терпеливо с раннего утра собирающую на полыхающем горизонте хваленое марево, что в любом случае при долгом, рапидном к нему приближении оказывалось на поверку марафонским коридором степных масштабов, из которых выдохся мираж. Нет, не выдохся. Между прочим, три мойры по-прежнему трещат, как саранча, над мужским телом, мертвым, — надо, говорит первая, позвать скорее махаллинского знахаря, обычно он обмывает усопших, говорит вторая, пусть быстрее делает свое дело и убирается, говорит третья, — зачем ты пустил их в свой дом, укоряли тебя друзья, ведь вытурят на улицу твою кроткую персону три ведьмы, нет, говоришь, они добрые, они помогают мне по хозяйству, ха, дивились друзья, твой наив надо вешать на первом же суку, но десять лет назад еще дышала всюду жизнь, когда Мун остановил машину перед трезубцем пригородной развилки. После чего вы принялись перебивать друг друга — такое чувство, что липкий, матовый минерал, обитающий на стволах урюковых деревьев, переполз в каналы ваших голосовых связок, и вам пришлось, откашливаясь, трясти воздух хлестким голошением просто так, в никуда, наобум. Помнишь, спрашивает «добрый, как хлеб» у Муна, а ты, спрашивает он же третьего, тебя, помнишь, помните Вовку Мустанга с Моталки¹, того, что зарезал весной семидесятого года Хайдара Османоглы, лучшего боксера в легком весе в нашем квартале, по пьяни пырнул его финкой прямо в сердце, — помню, как я, пацан еще, с моим тогдашним корешом, по имени, ладно, не важно, пробрались в глубину двора какого-то турецкого старейшины и оттуда наблюдали, как за хлопчатобумажной ширмой самые красивые месхетинки Садвин-

¹ *Моталка (сленг)* — имеется в виду район на западной окраине Ферганы, где расположена Шелкомотальная фабрика.

совхоза¹ обмывали белорозовое хайдаровское тело, и Мустанга позже на зоне «опустили», потому что он сто отжимов не смог сделать и... нет, прерывает его Мун, Вовка Мустанг назвался вором внаглую на Красной зоне, в придачу у своих же обкрадывал мужиковый паек, вроде тертый калач, и за это в момент его «опустили»; что на зоне, что на воле, говоришь (не удержался), все одинаково не умеют на зло не отвечать злом, не умеют молчать, когда на них клеветают, не умеют «уклоняться» от их марающих встреч... какое откровение, говорит Мун, сколько пафоса, говорит «добрый, как хлеб», наш Сакья-Муни, говорит Мун, сама отрешенность, говорит «добрый, как хлеб»; ничего не знай, ничего не понимай, говоришь, не читай «Бустон» Саади, не читай «Гулистон» Саади, говоришь. Впереди сквозь кремовый, солнечный дымок вдруг всплыл тигристый, маленький дирижабль (шершень?) и стиснул в своей мохнатой челюсти не то комара, не то слепня, словно видишь, закрыв глаза, с внутренней стороны век весну, травянистое предгорье, утопающее под ароматной петлей миндального, шелестящего молока. Сейчас ей, скорее всего, шестьдесят пять или шестьдесят шесть, соседской девочке, Кариме, в черных калошах, в пупырчатом камзоле, чей бурый покров рельефной рябью слепил ей глаза, когда она плелась мимо венценосных копий маисовой кущи в конец двора, к летней кухне, где женщина в шифоновом платье, которое под вечер она заменит на крепдешиновое, готовила ужин для партийных коллег своего мужа, — секретарей каких-то райкомов партии, председателя образцового сельсовета, третьего секретаря по идеологии обкома партии, начальника Госснаба, проректора по научной части местного педагогического института, руководителя комитета по физической культуре и спорту, секретаря по национальному вопросу ЦК партии республики, главного агронома совхоза «Ленин йули»², — дитя на кухонном пороге, у коричневой каймы земляного пола долго смотрело на тетю и, наконец, тихо-тихо сказала, у чёкипкетди³, по-таджикски растягивая «и», почти дифтонг, завитушкой напевно продливший последний слог, хрустальный взвизг котен-

¹ *Садвинсовхоз* — название квартала виноградарей (турок-месхетинцев) на южной окраине Ферганы.

² «*Ленин йули*» (узб.) — «Ленинский путь».

³ У чёкипкетди (узб.) — он утонул.

ка, ошептанный картиной недавнего бедствия. Тут вновь до тебя доходит, что ты, наверно, для того и появился на свет, думаешь или, наоборот, произносишь вслух, а не про себя, или, наоборот, думаешь, что думаешь, наверно, я для того и родился, чтобы, как вот теперь, ехать вместе с вами в салоне машины через полупустыни в никуда, для того, наверно, и появился на свет, чтоб однажды мчаться вместе с вами в автомобиле мимо мазанок и пустошных территорий, глядя (не глядя на ваши затылки) на ваши затылки, — чтоб один раз в жизни мчаться вместе с вами в машине к спасшей меня девочке, в никуда, на улицу (там, за чертой горизонта, крошатся селения и города, состоящие из мест, а не земель) Фурката к спасшей меня кареглазой пятилетней тени, замедлившей шаг на обратном пути (пока тридцатилетняя женщина в шифоновом платье бежит к пруду), замедлившей шаг в садовом дворе далеко позади бегущей женщины, чтобы внимательно рассмотреть спящего на кукурузном хохолке панцирного жука в фиолетовых блестках, полюбоваться васильково-золотистым, нет, разноцветным насекомым размером с ее левый мизинец, запомнить его зубчатые, шейные членения, похожие на ш-образное шоссе-перекрестье, перед которым Мун притормозил: влево, вправо, прямо, вправо, влево, прямо, влево, прямо, вправо, прямо, вправо, влево, вправо, прямо, влево, прямо, влево, вправо? Этот маршрутный тик (назло никому прыгающий пере-скок; навигационная пикареска; или дразнящая себя же безликая пантомима) дробит комбинацию трех сторон до еле ощутимого предвечерья, до вкрадчивых сумерек, в то время как вода в горной речке все шумит красками глинистой почвы после летнего ливня, мокнущего пока на прутьях влажной примесью завтрашной засухи.

Фергана, 2020

Шамшад Абдуллаев (1957–2024) родился в Фергане. Поэт, прозаик, эссеист. Лидер «Ферганской школы поэзии». Лауреат Премии Андрея Белого, премии журнала «Знамя», Русской премии. В 1991–1995 годах заведовал отделом поэзии журнала «Звезда Востока». Постоянный автор «Интерпоэзии».

ПОЭЗИЯ



Владимир Гандельсман

ГОЛОСА

окна

окна в доме напротив — сухощавая,
 в мелких запутанных кудряшках —
 ее муж, ее собачка, ее слащавое
 вечное сю-сю, пёсичек, любимая ряшка, ах! —
 и вечное: дверь входная от ветра хлоп — вот!
 опять! — и бежит ко мне — слесари! сварщики! —
 сколько хлопот! —

вдруг — никого, комнаты, как пустые ящики —

долго думаю: жили, ели, переодевались
 в пальто или в плащики —
 куда подевались? —

поздний вечер, закончен сеанс —
 я одна, раскладываю пасьянс —

окна в доме напротив — длинные молодые ноги
 ходят по кухне, лежат на диване —
 хоть и две, но обе две одиноки —
 телевизор за шторой, мерцанье, мерцанье —
 иногда каких-то гостей
 тени — а то перекатывает клюшкой
 мяч — других новостей
 нет в окне — ноги — а раньше жила старушка
 взбалмошная в кудряшках —
 вечное сю-сю, пёсичек, любимая ряшка, ах! —

который день квартира эта темна —
 я раскладываю пасьянс, одна —

долго думаю: жил, ходил
из спальни в гостиную — зачем они затевались,
те, кто белые потолки коптил —
и куда подевались?

она говорит

я вывожу кота в коммунальный
на этаже коридор
для впечатлений, а то он печальный
и все дремлет в спальне
с недавних пор.

помню, следит в блаженном покое —
за стеклом балкона щебет и спиц
золотых игра над рекою —
что это вообще такое?
что-то из жизни птиц.

еду с работы как-то —
окна, окна, и вдруг в одном
четверо играют в карты —
трое мужчин и женщина — как в дурном
сне — ярко, мертвенно, без азарта.

больше дней, которые снятся.
а наяву остается — будешь смеяться —
кот заплакал... он, кстати, стал
худеть, ему семнадцать,
в этом месяце резко сдал.

псалом

я Твой голос беру
в руки и подношу к ноздрям,
нюх — куда там зверью! —
нюх мой остр,

слух мой, как звонарям,
внемлет Тебе,
многоцветной Твоей трубе,
слух мой пестр,

зрение зрит, морям
отдано, впившись в их
воздух пространств живых,
зрение мое — ростр.

как мне от этих зорь
отвернуться теперь,
утренних ли, вечерних, с плеч
долой и лечь?

если я боль и хворь,
если трухляв мой дом
и, точно каленым клеймом,
временем мечен,

и Ты говоришь: вторь
тем, кто вот: земли вещество, —
объясни (ведь Ты — дó Всего),
что значит — вечн?

и зачем смерть
и мольбы: дай мне пить?
мудростью дышащего насыть,
умилосердь.

МОНОЛОГ СОСЕДА

осмелившись, немного обняли
друг друга... жалость?
любовь ли поздняя, подобие ли...
но сердце сжалось.

и вот... спустя неделю где-нибудь
легли — я помню только,
что ветер принялся осенний дуть...
и в комнате мы, два осколка...

в окне дрожание извилинок
куста... и, лепеча, вдруг сбилась
в воспоминание она: «я сильно так
в него влюбилась...»

и в этом лепете невинности
сознание вспыхнуло втемне мое,
что нóшу прошлого не вынести
ни ей мою, ни мне ее.

три времени жизни

1

в храм Ивановна водила, и втемне
протирала поперечину креста,
и показывала мне
«мамочку Христа»,

помню, бормотала: тки
внутри себя, чтоб не задело зло,
темные Он освещает закутки,
от Него светло,

видишь, дальше
там вращается веретено —
ткется это вертикальное
света полотно,

пахнет тихим ладаном,
и молитвенно, и больше ничего,
на скамеечке сижую я рядом
с «мамочкой» Его.

не было там говорящих —
только шепчущие из души своей,
помню золото горящих
под иконами свечей.

2

папка канцелярская с тесемками
белыми — завязаны на жалкий бантик —
школьной я пройду потемками
раздевалки в мир других семантик —

там на папиросной с синевой —
как на небе тоненьком — бумаге
тихая взойдет Звезда по стиховой
воле — Вифлеемская — проступят маги —

(то влюбленный мальчик подарил
мне одну из первых копий
тех стихов, которые поэт творил —
и несметные открылись копи...)

и с бумаги, по слепой поземке поля
двинутся волхвы, и у яслей замрут,
и меня до косточек, и никого дотолле,
строки эти проберут —

жизнь в окне вся в предзакатном золоте —
как младенца на ветру спасти? —
я стою и — у распахнутого в холоде —
не могу дыхание перевести.

3

он болеет, я гляжу в окно палаты:
зимний скверик, человек с собакой,
человек бросает мячик, опять бросает.

тает снег, трава, человек с собакой,
женщина с коляской, стайки подростков,
лето, смотрю из окна палаты.

никто не знает о себе, что он счастливый.
выйти в скверик, сесть на скамейку,
просто сесть, посидеть одной мólча.

госпиталь, уборщицы, медсёстры,
не могу читать, не понимаю, что читаю.
пусть не умереть, но и не жить.

все эти каталки, стоны,
инструменты, запахи больничные с ума
сводят, и тогда случилось:

я открыла на «Рождественской звезде»
и читаю вслух, читаю громко,
мой болящий спит, почти кричу, читая

там, где будущее как виденье входит
в настоящее и говорят: пойдёмте
поклониться чуду... и отчаяние в плаче

растворилось в тот момент, когда
оглянулся волхв — так тихо прозвучало
слово, сказанное мне, так совершенно.

я — сказать ли грубо? — в крике плача
как выхаркивала горе-страх-страдание.
избавление мое, моя молитва.

Майка Лунёвская

РОДИНА ВО ДВОРЕ

* * *

то ли ей плохо видно
(не пользуется очками)
то ли бабушке все равно
на варенье вишня давится
с червячками
заодно

как бы странно мне ни казалось
вида не подаю
но пенки снимать отказалась
не пробую не плюю

к вечеру поливали себя и корни
водопровода нет есть бочка и буровая
майонезным ведерком (я же не посторонний)
нагую бабушку поливаю
в городе перед домом в кустах малины
вдруг кто увидит но бабушке наплевать
как говорится жизнь оказалась длинной
теперь-то чего скрывать

я раздеваюсь за домом
езде соседи
сразу неловко потом веселюсь с водой
горячей из бочки холодной из буровой
вдруг кто увидит уже не волнуясь этим
стыд с меня что ли смылся волной в ведре
вечером летним видится в новом свете
родинка на бедре
родина во дворе
ягодное варе...

* * *

Оставить в прошлом прошлое, но что
тогда считать собой?
В закате силуэт села и месяц,
подсолнухи по правой стороне,
по левой стороне стоит туман,
но это не туман — комбайны в поле.
Оставить в прошлом прошлое с тобою
и то, что ты запомнил обо мне.
Уборочная пыль — мираж муки,
подсолнухи — на палочках круги.
Все кажется, что упростить легко.
А человек становится другим.
И звезды проявляются над ним,
и пахнет ночь травой и молоком.

* * *

Я прихожу к Ольшанке, сажусь на дно,
воды с него не набрать.
Но без воды, это ведь все равно
речка, река, как же еще назвать?
Так я сижу и жду, что волна пойдет,
вместо нее растет широко полынь.
А река ничего не ждет,
ее берега полны.
Не течением, а травой,
не рыбой, а муравьями.
Никогда не была пустой
(пустота не в реке, а в яме
или в том, кто сидит на дне).
Волна говорит волне:
«Не волнуйся.
Река во мне».

* * *

Не сломалась совсем,
а, согнувшись, разорвалась
ветка от сильного ветра.

На месте разрыва образовался клей
(должен помочь, но он не поможет ей —
слишком повреждена).
Наверно, она
не продержится долго,
зима ее завершит,
а весна обрушит пилой.
Но пока она держится,
вишня на ней висит
спелой, а не гнилой.
Я эту вишню ем,
задумываясь над тем,
как жизнь продолжается там,
где она совсем
невозможна.

* * *

Прямо за кладбищем поле, Ольшанка, ивы —
видела много раз, до сих пор красиво.

Там же стоит подсолнух и кукуруза,
между ними трава ничья.
Птицы, когда им грустно,
летают, но не кричат.

Влево — асфальт, направо — грунтовка к току.
Сколько я здесь на веле каталась, столько
по сторонам смотрела, понять пыталась,
небо еще ни разу не повторялось.

Дальше еще дорога, она к оврагу.
Иногда там чабан с собакой пасет отару,
иногда прилетают лебеди или гуси.
Собака кидается к велу, но не укусит
и не продолжит дальше за мной погоню.
Кто это все запомнит? А я запомню.

Мария Затонская

В ДОМЕ ВЫКЛЮЧИЛИ СВЕТ

* * *

Ничего не выходит, скажи мне, не потому ли,
что до первого снега еще как до Китая,
а дни уже малые, колкие и пустые,
липы изогнутые в полужесте застыли,
вроде бы так и было до нашей эры:
каменная плакальщица за стеклом музея —
поступь тяжелая, трещинки на тунике,
глядишь на нее, а она никак не опустит руку.

* * *

я два раза была на море в этом году
пока оно засыпало у всех на виду
все менялось с временем наравне
в гулкой такой электрической тишине
кроме лунного круга отброшенного на паркет,
не разделить ни с кем эту тьму и свет
день истончившийся, пленкой покрытый сад
или ты есть, или сверчки трещат

* * *

в доме выключили свет
в темноте обед пыхтит
глаза постояльца в отчаянье —
восстанавливают кухню по фрагментам:
серая левая стена
полосатая правая будто лес
газовая плита
раковина пуста

только не отворачиваться, в голове держать
а иначе опять заново начинать
привыкать к контурам и пределам
к вещам в которых существовать

* * *

каждый раз когда я хочу позвонить деду
у него дневной сон
а потом как вспомню — уже ночь наступила
наверняка спит
все время от меня ускользает
его время

* * *

Не вынырнешь отсюда ни за что:
почтайт через дорогу, дед в пальто,
туда-сюда галдят автомобили,
так будто для меня соорудили
тугой район, оконной рамы клеть —
смотреть, смотреть, хоть не могу смотреть,
как загорела улица к закату
и девочка плывет на самокате —
оранжевы в оранжевом окне,
на память долгую доставшиеся мне.

Любовь Колесник

ТИХИЕ ЯБЛОКИ

* * *

Земля отзывчива, но с памятью короткой.
За человеком вслед исчезнет с поля рожь.
Осот да череда. Растерянной походкой
идешь сквозь них, идешь.

На маленькой реке рогоз пророс сквозь лодку,
слетает дымный пух: подобие костра.
Где черный бык трубил, выпь ходит по болоту,
как седина быстра.

Дом, съеденный холмом, осина на распашках.
Когда тут был, вчера? Она стоит стеной.
Сидят на проводах в коричневых чеплашках
забвенье и тоска, клекочут надо мной.

Сдвигают облака цинкованные латы,
но, вырвавшись, ветра взлетают налегке.
Златые семена трепещут, крепко сжаты
в горячем кулаке.

* * *

Слётки сов в прошлом году пищали,
в этом году молчат.
Дождь висит сеточкой из печали,
работы край непочат.

Плесень в дом забирается от порога,
на лице иконы будто бы слезный след.
По всем приметам, грибов должно быть много —
не к добру, говорил дед.

Надо было пахать план и сажать картошку —
продавать по стольнику за кило.
Белая лошадь бродит, гоняет мошку.
Ничего, выживем понемножку,
будет еще тепло.

Так хотелось лета, а не рады лету,
снова дождь идет.
Интернета нет.
Но за печкой — как новенькая, газета
за тысяча девятьсот семьдесят девятый год.

* * *

Ничего не изменится. Луг зарастет, дом замшеет
и распадется, оставив печку торчать.
Вены выйдут из берегов, дочерна загорит шея,
соль на рубахе выступит, как печать,
как печаль из затянутой полузабытой песни.
Силуэт прадеда в эмалевой белизне
покажется зеркалом.
Ничто не сбудется, никто не воскреснет.

Слово калечной птичкой сидит во мне.
Больно ему, хочется на свободу.
Нет свободы, биться нельзя, не биться тоже нельзя —
только смотреть, как трубы торфозавода
по старой памяти небу еще грозят,
уже не дымя, но пока что не рассыпаясь.
Борщевичный крест буравит собой асфальт.
Облако над ним похоже на тонкий парус,
мы — на людей, живших сто лет назад.

Я повторяю эхом: ничего не изменится.
Пестрая птичка вспархивает с голбца.
Остов церкви смотрит на марш юнармейцев
надтреснутой фреской ошарашенного лица.

* * *

Нет, я не про войну.
Я про бабье вдовство,
про мальчишечье в форме казенной родство,
про солдаткиных, про безымянных,
про сияние звезд оловянных.

Я про тех, у кого ни звезды, ни креста
и ни имени — елка да посвист клеста.
Хлеб, стеною встающий из гроба.

Я про черные трубы пустых деревень,
как спустя и полвека рукам дервенеть
от тяжелого дальнего грома.

Я про яблони, что берегли, как детей,
про фантомные боли горячих культей.

Классный час в перезвоне медалей —
ветеран говорил о добре и о зле,
мы потом сочиненья про мир на земле
в вечность ценным письмом отправляли —
не найдя адресата, вернулись назад.

На карбоновый памятник дроны летят,
пишут в небе «100 лет» и «Победа»,
салютуют.
Но я не про это.

2021

* * *

По вечерам над спиртзаводом
летают черти хороводом,
я это видела вчера.
Меж днем труда и новым годом
зияла черная дыра.

От слободы и до посада
катился черный люд икрой.
И то, что им куда-то надо,
казалось чертовой игрой.

Я спать легла.
Сквозь вату спячки
вращали черти коленвал.
Царь в бело-кипенной горячке
за стенкой сына убивал.

* * *

В угол заходит, идет из угла,
ляжет под тяжестью тела.
Снег за окном — будто сажа бела,
сколько его налетело.

За занавесками черный завод
в окоченелом простое.
Выпьет, поморщится, снова нальет,
в зеркало смотрит пустое.

В зеркале шкаф полированный, тьма
серые тени качает.
Ходит и ходит, как сходит с ума,
смотрит, как в банке окурок горит,
молча с собой говорит, говорит,
молча себе отвечает.

* * *

Хмурое утро, серебряная трава,
в поле туман, на закрайках кабаньи стёжки.
В старом сарае прижившаяся сова
смотрит наружу глазами тревожной кошки.

Падают тихие яблоки. На земле
нет ничего возвышенной и печальной:
дом, простоявший нетопленным много лет,
сад, запустенье рифмующий с одичаньем.

Разве охотник, «шишигу» остановив,
руку протянет — так тянутся к небу гуси.
Вынет платок, оботрет золотой налив,
рядом в кабине положит и не надкусит.

Владимир Салимон

ЧТО-ТО СДВИНУЛОСЬ В ПРИРОДЕ

* * *

Всю ночь шел снег, а поутру
внезапно оттепель случилась,
и я подумал, что умру,
так часто сердце вдруг забилося.

Я так подумал, но меня
о смерти мысль не испугала.
Был дым, но не было огня.
Чего-то явно не хватало.

Я перебрал немало строк,
пока нашел такие строчки,
что убедиться каждый мог,
прочтя их, —
мир дошел до точки.

Мы скоро все пойдем на дно,
лишь Подколесин уцелеет,
поскольку раньше всех в окно,
как заяц, сигануть сумеет.

* * *

Почтовый ящик у подъезда
исчез,
должно быть, потому,
что в силу времени и места
никто не пишет никому.

Как если б жанр эпистолярный
себя в России исчерпал,
а ты, чудака сентиментальный,
об этом не подозревал.

Нашел конверт, приклеил марку,
ее лизнувши языком,
как рукотворную сигарку,
что пахнет сладким коньяком.

Хотя, в единой, неделимой
живя, ты мог давно понять,
что только почте голубиной
всецело можно доверять.

* * *

Алмаз за голову поэта.
Цена не слишком велика,
ведь речь идет про Грибоеда —
разведчика в тылу врага.

А тот, кто власть цареву кроет,
как ты, да я, да мы с тобой,
и слова доброго не стоит,
и трех аршин земли сырой.

На что рассчитывать мы вправе,
не стоит попусту гадать,
мечтами о посмертной славе
себя напрасно изнурять.

На будущее строить планы,
тогда как будущего нет,
и шапкой насыпать курганы
в честь не одержанных побед.

* * *

Абазур яично-желтый
над столом висит во мраке,
словно шар воздушный, тертый
о холмы и буераки.

Было время, были люди.
Пили, ели по старинке.
Скажешь: судя по посуде,
это было на Неглинке.

А быть может, на Таганке —
платице на мне в цветочек
пестрое, как у цыганки,
косы убраны в клубочек.

Фотоснимок крутишь, вертишь,
в руки взяв,
к глазам подносишь,
но глазам своим не веришь,
только зря себя изводишь.

Это было на Солянке
в день, когда, чередой неспешной
в город наш вошедши, танки
встали поперек Манежной.

* * *

Проспал Рождественскую ночь
и утро Рождества, так сладко
спалось, что за ночь вышел прочь
весь хмель вчерашний без остатка.

Морозный, ясный день похож
был на рисунок карандашный —
теперь такого не найдешь
среди всякой мишуры продажной.

Давала знать себя рука
художника, любовь к детали.
На белом — белое.
Снега.
Снега. Заснеженные дали.

Лишь у мостка через овраг —
перст божий в некотором роде:
проезда нет — пунцовый знак,
известный как «кирпич» в народе.

* * *

Утром ранним очутиться
в городке, людьми убитом,
солнцем яростным залитом,
и, услышав, как синица
тенькает, перекреститься.

Мне для счастья много надо
солнца, солнечного света,
синенький забор детсада
чтоб вдали маячил где-то.

Чтобы черное белело.
Чтобы белое чернело.
Чтобы жалостливо пела
кошка, изогнувши тело.

Чтобы женщина на фото —
в головах моей постели —
вдаль плыла вполоборота
к ей одной известной цели,
что достигнет несомненно.

Между Господом и мною
будучи одновременно —
и невестой, и женою.

* * *

Кипит работа срочная.
В подвале молотком
стучит сантехник.
Сточная
труба трубит подъем.

Посвистывает чайничек.
Тарелочки звенят.
Похрустывают пряничек
и сахар-рафинад.

Веселенькая музыка.
Но треснутый фаянс
малюсенького блюдечка
привносит диссонанс.

Ужель от этой трещинки,
малюсенькой на вид,
случайно мной замеченной,
душа моя болит?

* * *

В последний день предновогодний
мы чувствуем упадок сил,
как наш Создатель в день субботний,
когда дела все завершил.

Все вопиет во мне — предайся
мечтам, надеждам, водку пить
садись, иль в баню отправляйся,
грех первородный чтобы смыть.

Я б непременно так и сделал,
но знал я, что не отскребешь
с души изрядно огрубелой
всю грязь и смрад.
Тут нужен нож.

Все так прилипло, прикипело,
как будто старого козла,
тебе пустивши корни в тело,
навек шура приросла.

* * *

Что-то сдвинулось в природе.
Леса ледяной кристалл,
словно Рильке в переводе
Пастернака, засверкал.

Но о Рильке с Пастернаком
неизвестно было той,
что трусила быстрым шагом
по дороге вслед за мной.

Псине шалой, сучке рыжей,
ярко-рыжей — огневой,
не сводящей взгляд бесстыжий
с рюкзака с моей жратвой.

Я мешок заплечный скинул.
Хлеба теплый каравай,
колбасу и сало вынул —
знай поэтов, налетай!

* * *

Мир хижинам многоэтажным!
Привык, прижился, и пейзаж
уже не кажется мне страшным:
забор, детсад, сарай, гараж.

Не выкинешь из песни слова —
сарай, гараж, детсад, забор,
но как же, житель Тропарева,
твой ограничен кругозор.

Как ни крути, пройдя по кругу,
в конце концов упрутся взгляд
в какую-нибудь развалюху —
в гараж, в сарай, в забор, в детсад.

Как будто минотавр на Крите,
что в лабиринте заточен,
как на Таити — Тити-Мити,
ты в Тропарево обречен.

Надя Делаланд

ВСЬ ДЕНЬ

* * *

скульптор небесный листающий лес
лестница в небо и огненный лис
голос растрепанный катится вниз
в темном закате навеки исчез
мы сохраняйте свою пустоту
я тишину сохранили свою
вы до сих пор тонконого стою
он тонкоруко ветвями расту
грезила осенью стала зима
зоркий мороз зажимающий рот
кто там за голову тянет берёт
мама ты мама я мама мы ма
живорожденный котенок щенок
тайный младенец растущий из тьмы
мамы цветок раскаленной зимы
я голова у него между ног
если рожать целый день напролет
станешь сквозной длинношейей тоннель
стонешь гудеть и из царства теней
чувствовать холод бутылочный лед
если рождаться весь день и всю ночь
к свету тянуться ты чувствовать свет
то непременно закончится смерть
здесь между ног

* * *

все мертвые становятся детьми
беспомощными ничего не могут
самостоятельно им все не слава богу
одень переверни печаль уйми
их на руки возьмешь и напролет

всю ночь прижав к груди по дому носишь
 поешь им песни внятно произносишь
 никто из них однажды не умрет
 сажаешь их под домом и в окно
 все время смотришь не взошли ли листья
 ли листья не взошли но можно литься
 дождем и лица вытянув и нос
 достанешь ночью косточку зерно
 светящееся семечко из почвы
 запьешь его дождем и станешь молча
 вынашивать внутри себя всю ночь
 потом родишь и снова двадцать пять
 часов подряд то пеленай то нянькай
 корми грудным дыханием и в майке
 иди копать

* * *

мы лежали сквозные открытые рты
 повернув на открытые рты
 и тогда сквозь меня прорастали цветы
 тихий лоб протолкнув и застыв
 наши корни сплетались и в небе реки
 рифмовались качались рекли
 улыбнись лепестками одни уголки
 облаками сквозь корни текли
 боль прозрачна и солнечна и на просвет
 как поднять так и в сущности нет
 ни печалей ни бед ни печалей ни бед
 ни качелей печалей ни бед
 укачает когда и глаза позакрыв
 по-младенчески спящая май
 по цветам легкой дрожью взлетит улетит
 и как хочешь тогда понимай

* * *

В этом теле, которое я ношу,
даже разум не очень мой,
утомительный шелест, шершавый шум,
августите меня домой.

Я — учитель изо, ученик из-за
пандемии забывший речь,
я рисую на ветке свои глаза,
и они продолжают течь.
Я ждала это лето, оно прошло,
окунувшись в лиловый дождь,
так бывает со всеми, кто ест из слов,
так бывает со всем, что ждешь.

* * *

Мне страшно жить спаси меня от смерти
Меня вели в берете к тете Берте
Вели вели и вывели в лесок
И дядя меня вырубил в висок
Потом я помню ветки с поволокой
Течение холодное глубокой
Четыре птички лодку на воде
И все вокруг какое-то нигде
Но я росла и кажется проснулась
Была весна она касалась улиц
Улыбкой света на губах сухих
И где-то тут ворочались стихи
Я вывернула за угол в проточный
Пространственный континуум и точно
Там столбиком стоял и говорил
И жизнь мою три раза повторил

* * *

внутренней речи скользящий поток
взять это облако или цветок
скажешь вот тоже такое
тело оставив в покое

руки раскинув несется река
 тут широка мне а там далека
 камень попавший на камень
 перебирает руками
 долгой воды светоносный глоток
 ласковый клюв поднимает росток
 в воду смотрю и глотаю
 падаю и вырастаю
 громкая пристань натруженных слов
 мы начинали здесь с самых основ
 бочки катили по трапу
 переживали утрату
 небо дает легкокрылую течь
 в воздухе кружится зимняя речь
 город от снега светает
 новую книгу верстают

* * *

гравюры дюрера светясь
 впускают в глубину
 нет объясни какая связь
 что я в себе тону
 что проступающим из тьмы
 ключицам и бедру
 так драгоценно быть на мы
 пока я не умру
 пока не разобьются все
 молекулы пока
 мне еще девять восемь семь
 шесть пять одна рука
 мне столько а теперь скажи
 словами а теперь
 попробуй заново ожить
 в сияющую зверь
 как хорошо что я мертва
 что я трава и мох
 что ходят по воде слова
 и водомерка-бог

Татьяна Вольтская

ПОКАЖИ МНЕ ДОМ

* * *

Господи, Боже мой,
Господи, Боже мой,
Господи, Боже мой,

Взвей меня над чумой,
Кровью, сумой, тюрьмой,
Гарью — домой, домой.

Таял бы за спиной
Край с мушмулой, хурмой,
Ласковый, но не мой.

Вместо разбитых стен,
Вместо кровавых тел —
Осени канитель.

И никакой войны,
И никакой страны,
Объевшейся белены.

Вместо позорных рож —
Речка, проселок, рожь,
Елка, опенок, еж.

Цел Мариуполь, бой —
Только в кино, и зной
Спал, и мой сын со мной.

И ни Бучи, ни зги,
Ни этого, без ноги —
Господи, помоги!

* * *

Ни балет с лебедями и феями,
 Ни стихи, ни сухое вино,
 Ни немецкие фильмы трофейные,
 Те, что мама смотрела в кино,

Ни улитка на солнечной отмели,
 Ни тома самиздата в столе,
 Ни Deep Purple, ни лекция Лотмана,
 Ни картошка в горячей золе,

Ни промышленный город, живой еще,
 Ни с господской усадьбой село,
 Ни загулы, ни умные сборища,
 Ничего, ничего не спасло.

* * *

Расстоянья словно бы нет, и око
 Видит лавочку, лужу, коробку сока,
 Будто я сижу на пеньке у почты,
 Только зуб — ни ягодки, ни грибочка,
 Ничего нейдет из приманок летних,
 Даже яблока — да, говорят, и нет их
 В этот год.

Конечно, далековато,
 Чтобы видеть, как выплывает стадо
 Из-за леса, как розовеет вымя,
 И качаются — нимбом — рога кривые.
 Далеко, но я почему-то вижу —
 Это Виктор перекрывает крышу,
 Это Димка в промасленной куртке потной,
 Это я — с листочками Писем с понта.
 Переписываю — глаза влажнеют —
 Да и не было писем тогда важнее,
 Да и не было мыслей о том, что рано
 Или поздно растает крыльцо, веранда,
 На валу над железной дорогой елки,
 Что придется выть по ночам — да толку.

Ни конца, ни края у этих ночек.
Вот друзья на экране, а вот сыночек,
Вот очаг компьютера, свет нерезкий,
Угольки трещат — если можешь, грейся.

Покажи мне дом, покажи мне печку
С необманным огнем, покажи мне речку
С берегами топкими и мостками,
Покажи края полинявшей ткани —
Грузовик с дровами, сырые липы,
Гору ящичков за ларьками, либо
Ганнибаловский лес и клочок аллеи,
И руины — держи телефон левее.

Про экран, укравший у нас разлуку,
Ты сказал однажды. Но эта штука,
Что в ладони теплится, как живая,
Не заменит веселый звонок трамвая,
На котором я знаю, куда поеду,
И ни зиму ту, и ни осень эту.
Глаз надежнее, он пронизает время —
И прозрачный жар от его горенья,
И дымок, когда оно помертвело —
Из-за гор косматых, из Сакартвело,
Из чужого гнезда, из плюща, платана
Видит дом в сирени, царя Салтана
У забора, а вот и сосед запойный,
И плакат, зовущий юнцов на бойню.
Небо цвета инжира течет, густея,
По сутулой горе — ты не знаешь, где я?
На сентябрьском солнце желтеют доски.
На ступеньке бани — раскрытый Бродский.

* * *

На диване потертые джинсы,
Календарь и часы на стене.
Эта рифма — отчизны и жизни,
Что казалась железа прочней,

Как же быстро она разорвалась,
Раздробилась, рассыпалась вдруг —
На слезу и бессильную ярость,
Рыбкой выскользнула из рук,

Красной струйкой, тоненькой юшкой.
И порхает, как бабочка, снег,
И лежит
 вниз лицом на опушке
Одноразовый человек.

* * *

Леденя от сводок
О войне, отвернешься погреться —
Обезболенный воздух,
Золотое сечение Греции.

Из-за ленты прибора
Не слышны ни проклятья, ни взрывы.
Где болит? Бог с тобою —
На горах серебрятся оливы.

Солнце золотошвейное
Пробежит под стеклянной волною,
Все вокруг — довоенное,
Только ты со своею войною,

Яд из раны не выжав,
Не дыша, улыбаясь для вида,
Бродишь между живыми,
Словно скорбная тень из Аида.

НАСТАВЛЕНИЯ СЫНУ

1

Ты сходи на кладбище. Пятый хвойный,
Поворот аккурат за могилой братской —

Ты же помнишь, мы же ходили. Войны
От живых своею повадкой блядской

Отрывают мертвых. Найди скамейку,
Оборви сорняки, посади цветочки.
Мне теперь туда ни ужом, ни змейкой
Не пробраться — в этом году уж точно.

Все вернулось на круги — ни петь, ни плакать —
Кто плясал от радости в девяностых? —
То-то. Ладно, мама не дожила хоть,
Ну а бабушка знала, что все вернется.

Уж чего-чего, а пустых бутылей
Там всегда полно, где вода — ты помнишь.
Ямки вырой поглубже, побольше вылей,
Жаль, что я тебе не приду на помощь.

Хвойный шорох, мелкий ольховый шепот,
Небо в дырках от елок, тропа лесная.
Вытри камень тряпками. Хорошо хоть,
Ни отец, ни дедушка не узнали.

Подмети. С цветников соскреби лишайник.
Кто-то смотрит всегда через елки эти.
Ты теперь за старшего. Навещай их —
Чтобы не потерялись в лесу, как дети.

2

Покоси хоть немного траву у дома,
Чтобы ирис выжил, репей и ландыш,
И глазам светло, и ногам удобно:
От крыльца до канавы, а дальше — ладно уж,

Все поменьше мерзости запустенья.
И буфет внизу закрывай плотнее,
Чтобы мышь не пролезла. Советы тени
Проще выслушать, а не спорить с нею.

Собери калину, пока не поздно,
 Да купи у Юры побольше меду —
 Будешь пить зимой. И пока морозы
 Не пришли, обязательно вылей воду

Из котла, на помощь зови Максима.
 Сможешь сам? Почему я тебе не верю?
 Просто ты в эти сферы влезал не сильно.
 И прибей, наконец уже, ручку к двери.

Приспособился ломиком? Ну, а я-то,
 Как вернусь... Но об этом пока не будем.
 Колбасы не ешь и другого яда —
 Покупай у Нины сметану, студень,

Жарь грибы с картошкой — и будешь сытым.
 Надышись поглубже осенним лесом.
 Холодильник отключишь — оставь открытым,
 А иначе внутри заведется плесень.

Да купи кроссовки — они не прихоть.
 Убери с веранды свой детский мячик.
 А пройдет с коляской Антон — спроси хоть,
 Кто родился, девочка или мальчик.

На соседку забей, что врагом народа
 Назвала меня — лаёт пускай на ветер.
 На доносы тоже проходит мода.
 Жаль, чтомышь поселилась-таки в буфете.

3

Сделай паспорт, пожалуйста, сделай паспорт,
 Ну и что, что старый пока годится,
 Не тяни, покуда двуглавый аспид
 Ключнет в жопу спящего пофигиста.

Да, тупой, замшелый, но все живое
 Превращает в мертвое виртуозно —

Так пускай моего не услышит воя,
Сделай паспорт, пока не поздно.

Ну, отсрочка — мало ли, что отсрочка,
Ты же знаешь, недолговечно счастье:
Уберут параграф, добавят строчку —
И прикроют лавочку в одночасье.

Прав Сокуров — если родился мальчик,
Значит должен погибнуть, и все согласны.
Нет уж, накося-выкуси, не заманчив
Рок — полечь под Лиманом или Попасной.

Ну и что, что чудовище сыто-пьяно —
Все равно приникает к вечерним окнам,
Даже если очередь не твоя, но
Вдруг не сможешь приехать на Рождество к нам.

Мне пока в отечество путь заказан —
Там мне место почетное у параши.
Паспорта дают еще, мутным глазом
Оглядев? Вот и делай, и лучше раньше.

Не дай Бог, передумают — все, не выдам! —
Гребешком кровавым потряхнет и щелкнет
Клювом тетка в окошечке — от Москвы до
Необъятных окраин захлопнет щелку.

4

Ты плати там вовремя за квартиру,
До двадцатого лучше. Найди забытый
Пуховик в химчистке. Не упустила
Ничего я? Коврик, выдавший виды,

Заменить бы надо. катушку лески
И пакет белья отвези на дачу.
Постирай покрывало и занавески.
Окна вымыл? Ясно, еще не начал,

Так и знала. Не улыбайся хитро.
 Все, как видишь, теперь на тебе: засада!
 Будешь в храме — узнай, как отец Димитрий,
 Обними там матушку Александру.

Не забудь на Кронверке дом с балконом,
 Где чугунные листья стариннойковки:
 Мне родное сделалось — незаконным.
 Да, и вот еще — почини духовку!

Это ж так удобно — поставил мясо
 С чесноком или рыбу — и ешь неделю.
 Что ты там готовишь — гадай да майся,
 И футболка висит на худящем теле.

В новостях, как раньше — кровища, танки,
 Всех уьем, нагнем, калинка-малинка.
 И когда пойду с тобой по Фонтанке
 К Чернышову мосту и к Сенному рынку?

И взъерошит волосы ветер шалый,
 Отгоняя наглуую смерть и старость...
 Ну а ролики ты продай, пожалуй —
 По Елагину так и не покатались.

5

Как же это нету Акутагавы —
 Был ведь точно том его светло-серый,
 Я же помню, в гостиной на самом правом
 Стеллаже стоял он — до нашей эры,

Примешавшей к воздуху посвист пули
 И к воде — чуть слышимый привкус крови.
 Раньше книгу на полке найдешь вслепую,
 А теперь квартира тебе — как Троя.

Ты копай, копай, не жалея усилий.
 В застекленном шкафу у меня — Карсавин

И Шестов, а с другой стороны — Васильев
Павел —

не расстреляли бы, то-то славен

Был бы, то-то своим серебром казачьим
Раззвенелся громче, взлетел бы выше.
Никого не зовем, ни о ком не плачем
Из убитых нами. Так ясно вижу

Этот синий томик его, как будто
На ладони качаю в ночном дозоре.
Дочитаешь до «Соляного бунта» —
И во рту проступят крупинки соли.

Да еще Ходасевича отыскал бы,
Он в другом шкафу, у дверей — короче,
Проберись через книжные наши альпы,
Погляди на звериную поступь строчек

Европейской ночи вокруг поэта,
Со своей отрубленной головою
Говорящего. В мертвом квадрате света,
В телефоне — моя говорит с тобою.

Из убитых, изгнанных — знаешь, столько
Городов получится — но не будем.
Проведи рукою по книжной полке:
Не всплывет Ходасевич — найдется Бунин.

Алена Максакова

ПОЩАДИ ЭТОТ МИР

ANALITIKA

Аналитика показала
Есть несколько выходов из ситуации
Но все в окно
Для мертвой рыбы
И травмы
Есть слово
И это слово
Одно

Из желтой геенны
Из пива
Из пены
Из рыбьих
Бессмысленных
Глаз и костей

Восстала
Эпоха
И все мы ей ***

Давай
Познакомишься с ней!

* * *

Доброго ранку

Как твои ранки
Твои дела?

Твои бледные венки
Шрам на коленке

Знаю
Что умерла

Но это сегодня неважно

J O D

Не набила тату
Не прыгнула с парашютом
Не видела рим
И храм покрова-на-нерли

Вместо прощания
Или прощения
Говорю теперь

Я люблю тебя

Успела

S H - U M E R

Твое междуречье
Будет занесено песком
И последний житель
Умрет в борьбе с муравьями
Что же будет
Что случится потом
Со всеми нами
Песчаные бури
В часах
На игле времен
В потоке
Проколотой
Клепсидры

Ты глотаешь сухую воду последних дней

ЭПОС*Д. Давыдову*

Мы все напишем
 Когда-нибудь
 Свои войны и миры
 В свободных
 Спокойных
 Странах и городах
 В уютных
 Невеликих
 Государствах
 Новых
 Искренности
 Реальностях

На новых
 Экзопланетах

Новый эпос

Только мы не будем больше людьми

FUTURUM

Слушала
 Уличного музыканта
 Красивое лицо
 Японская графика
 Олдскульный рок
 Приятный
 Мультикультурный акцент

Бросила денег
 В цветную коробку
 Поблагодарила
 В спину понеслось

Может я завтра в тебя влюблюсь
Завтра
Завтра

Почувствовала
Дрожь
В спине
В лопатках

Боже
Пощади этот мир

Подари нам завтра

Завтра

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Слава Полищук

ПЬЕТА

А.Д.

1.

* * *

Улицы маленьких городков Лонг-Айленда пустынно. Холодный день. Ветрено. Солнце редко выходит из-за серых облаков. Лучшее время медленно идти вдоль домов по городской улочке, узкой полосе асфальта, и всматриваться в мокрую, в глубоких складках цвета ржавой меди кору деревьев, в обшивку домов цвета мокрого пепла. В охру, стылую жженую умбру промерзшей земли между корнями, в рытвины, вмятины тихой земли, усыпанной серой шелухой гусяного помета, в ошметки травы, в лужу, с отраженным небом возле подтопленного берега, упершегося в гнилые, черные сваи, в серый песок пляжа и дальше в серые доски с вылезшими головками черных гвоздей дощатого настила, уходящего в воду под холодным небом.

Песок проседает под ступней. Пятка глубоко проваливается в ямку, быстро заполняющуюся водой. Надо сделать усилие, наклониться вперед, чтобы сохранить равновесие. Но очень скоро пятка погружается еще глубже, ниже всей ступни, и надо опять податься чуть вперед, вытащив пятку из уже прогретой воды. Обрывки водорослей, подталкиваемые легкими бесшумными волнами, касаются щиколотки и, не успевая за отбежавшей водой, остаются подсыхать серыми бинтами на песке возле ног. Разбросанные по пустынному пляжу продолговатые валуны похожи на павших солдат, забытых и не подобранных после боя. Их плоские, облепленные ракушечником тела остывают к вечеру, отдавая тепло, как последнее дыхание, темноте, сливаясь с песком под маскировочной сеткой рваных водорослей.

Пляж не длинный, полоса песка между частными спусками к океану и причалом возле далеко стоящих яхт. Примостившись возле валуна, я вижу, как Айда делает «колесо». Песок мягкий, и у нее не получается найти опору для рук, чтобы быстро ку-

выркнуться. Песок твердеет, становясь темным и упругим ближе к воде, и последнее «колесо» почти удаётся возле пенной кромки, где песок почти каменный, в острых осколках мелких ракушек, царапающих ладони.

* * *

Кнопка в кармане царапает ногу. Поднял с пола, когда уезжали, и сунул в карман брюк. Всегда жалко выкидывать, даже когда иголка сгибается. Это даже не кнопка. Вместо плоской шляпки — маленький пластмассовый цилиндр, как деревянная катушка, на которую наматывают нитки. Push pin, игла, которую толкаешь во что-то. Так точнее. Игла мягко входит в стену. Как заноза, застреивает в сухой штукатурке, удерживая лист бумаги. Кисть касается пластика, оставляя каждый раз немного краски, клея, обрывков бумаги. Краска и клей застывают, превращаясь в маленький камешек, почти невидимой в складках мокрой бумаги. Закончив работу и выдергивая иглу из стены, приходится заклеивать след. Если работа была долгой, то кнопку использовать уже невозможно. Игла обросла материалом, исчезла в нем, да и острый кончик загибается, становясь похожим на мамины вязальные спицы. Но выкинуть жалко. Можно переложить в карман пиджака.

* * *

Слепые самолеты, тыкаясь носами в стену дождя, медленно отползают от рукавов-переходов, как щенки от сосков дворовой собаки. Заплаканные окна зала ожидания, немые мониторы телевизоров, свисающие с потолка. Новостные картинки безмолвно сменяют друг друга. Где-то под Бахмутом, не успев докурить сигаретку, солдат неуклюже заваливается набок, в холодную жижу на дне окопа. Полоска блокировки стыдливо мечется по серому размытому лицу, застывая среди комков глины, блиндажного мусора, развороченной земли. Песенка, которую я орал на заледенелом ижевском плацу, раскорячилась в моем горле забытым сухарем сухого пайка. «Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди». Не вернется. Никто не вернется. Ни этот пленный солдат, застреленный в грязи окопа. Ни другой,

снимающий убийство на камеру телефона. Матерщина сливается с родной речью, с харканьем автоматной очереди. Не вернется и тот, третий, который, матерясь давит на курок. Они останутся на безголосом экране в череде других картинок.

По-рыбьи разевающая рты толпа юношей, с замотанными кувейтскими лицами, и девушек в хиджабах. Бегущей строкой титры. Вспомнилось, как я стоял за металлической оградой напротив митингующих студентов. Нас разделяли несколько метров. Они орала, обещая мне смерть, уничтожение. Я вижу этих вежливых девушек и юношей каждый день в колледже. Возможно, еще утром кто-то из них придерживал тяжелую дверь библиотеки, пропуская меня вперед. А сейчас я видел горящие глаза над платками и медицинскими масками, оставшимися с недавних времен эпидемии, скрывающими их лица, взлетающие руки со сжатыми кулаками в такт лозунгам, которые какая-то девушка считывала с экрана телефона. Толпа синхронно двигалась в огражденном загоне, веселясь, матерясь, восхваляя пророка. Девушка с телефоном пробилась к самой ограде, прямо напротив меня, выбрасывая время от времени средний палец из почти детского кулачка. Я стоял и молча смотрел на нее. У меня не было к ней злости. Я не чувствовал к ней ничего. Я видел перед собой зло, чистое, открытое, незамутненное никаким сомнением в своей правоте зло, силу, готовую убивать, рвать на части, резать, уничтожать с юношеским задором и незнанием того, как липка человеческая кровь.

Вторые сутки идет занудный, непрекращающийся дождь. Серая утренняя хмарь переходит в морозящую мороку дня, туманный промозглый вечер, сырой холод ночи с завыванием ветра и выматывающим душу стуком капель по железу кондиционера. Откуда приходят силы, как появляется уверенность?

...Только прислушайся к себе, волочи свои жалкие слезы к трепещущему огоньку, не загаси, ползи, карабкайся, мни, меси мягкую податливую бумагу, мешай с водой, клеем, краской, наслаивай, соскабливай и набрасывай опять и опять на холст, дай подсохнуть, всмотришься в пластмассовые ребра заборов, в рытвины и трещины в асфальте городских улиц, петляющих среди ровно нарезанных кварталов, в одинокие жилища предместий, уже за городом, слепые ангары складов под громкими именами, загнанные за ограды стада тесно прижавшихся друг к другу машин, в бетонные озе-

ра стоянок перед сбитыми в стаи магазинами, в тепло вечерних придорожных кафе с запахом уюта дешевых опрятных гостиниц, в закатное небо над пустынными полосами дороги, в мерцающий холод сигналов разметки взлетных полос, срывающихся в черный залив, в одинокие фермы, в безмолвные дюны в щетине торчащих из серого песка обглоданных ветром тонких стволов, в рваные облака над шоссе, упирающимся в свинец океана.

2.

Св. Петр (мозаика)

Сорок четыре года назад я делал копию мозаики из капеллы Св. Андрея в Равенне. Это было одно из заданий для студентов реставрационного отделения монументальной живописи Строгановского училища. Ни город Равенна, ни слово «капелла» ничего мне не говорили. Был альбом с репродукциями, как оказалось, хорошего качества. Мне достался апостол Петр. Лицо в круге. Помню, как рубил смальту. Тяжелые камни цветного непрозрачного стекла подставлял под вертикально двигающийся резец, мягко и молниеносно опускающийся на смальту поворотом колеса сбоку. Одной рукой надо было держать камень, чтобы резец не соскочил на пальцы, а другой, крутанув колесо, сразу же остановить его, удерживая от повторного падения вниз. Так кололи смальту сотни лет назад, так работали и мы. Быстро переворачивая ровные прямоугольники с острыми краями между большим и указательным, ставил камень точно под резец, оберегая пальцы от удара. Когда размер наколотых кусочков приближался к необходимому, начинали работать молотком. К острому концу молотка для колки смальты с замечательным названием «мартеллина» наваривалась плоская острая победитовая пластина. Ценность мартеллины определялась качеством победита. Молоток бережно заворачивали в тряпку после работы, чтобы не повредить острый резец. На приваренный к металлической пластине нижний резец ставился зажатый двумя пальцами кусочек смальты, и ударом молотка его кололи до необходимого размера. Сотни, тысячи быстрых, точных ударов. Сотни одинаковых кусочков смальты с ровными, острыми, отвесными краями. Именно этой

одинаковостью тысяч камешков определяется мастерство. Тогда, в V веке, художник сделал ошибку. Я выкладывал круглую линию, белую обводку вокруг золотого кольца. Слева от лица в этой линии есть сбой. Квадратный камень лежит рядом с более длинным, нарушая линию. Такого не должно было быть. Может быть, мастер устал, не рассчитал. Надо было переложить несколько десятков камней рядом, выровнять линию. Не стал. Я помню, как увидел этот сбой. Была в этом человеческая ошибка, неточность скола, усталость пальцев, зажимающих камень под падающим резцом. И вот теперь, сорок четыре года спустя, я стою возле этой мозаики и смотрю на синеву, глубокую теплую лазурь, мерцающее золото, холодную белизну одежд. Между мной и лицом Петра несколько метров. Я могу дотронуться до каменной поверхности лиц чуть ниже, которые ближе ко мне. И я делаю это, вбирая тепло поверхности, всматриваясь в камень, касаясь смальты, которую художник вдавливал в раствор семнадцать веков назад.

* * *

Площадь перед базиликой Санто-Кроче была заставлена только что возведенными металлическими трибунами. Внутри, блуждая среди бесчисленных усыпальниц, пытались не наступить на каменные плиты гробниц под ногами. Мешанина скульптур в виде печальных женщин, живописи и архитектуры.

Мы вернулись на площадь вечером. Базилика была закрыта. Дворники подметали плиты и ступеньки возле церкви. Сквозь решетку в ограде был виден внутренний двор. Небо вокруг капеллы быстро темнело. Чистый ультрамарин вбирал в себя перламутровый невесомый пепел догорающего дня. Розово-зеленый расчерченный мрамор фасада растворялся в воздухе, становясь листом бумаги с легко намеченным планом постройки. И только небо над внутренним двором базилики горело драгоценным лазуритом все ярче и ярче, светясь осколком смальты над голубыми плитами двора. Теплая охра плит галереи, купола базилики горели плавящейся медью, обрамленной изумрудно-черной изнанкой арок. Двор стал котлом, в котором плавился камень, мрамор, небо. Кипящая масса остывала под холодным небом, как горячее жидкое стекло твердеет, чтобы превратиться под резцом в кубики драгоценной смальты для будущей мозаики.

Пьета Бандини. Микеланджело

Свет падал сверху, через окно-купол на большой высоте, или это был искусственный свет, не заметил. Сделал несколько шагов вперед, чтобы видеть ее прямо перед собой. Безжизненное тело стекало, скользило, струилось среди рук Марии, Магдалины и Никодима, минуя их, не способных его удержать. Это движение вниз изломанного на кресте тела было видимо, ощутимо. Измученная плоть казалась непосильной тяжестью для трех пришедших к кресту, для их шести рук. И все-таки это не было падением. Бесплотные, удлинённые мышцы подчинялись какому-то другому закону. Точно так же, как руки Марии и Магдалины не могли остановить это движение, так и само движение не могло быть остановлено землей под крестом. Оно имело некую иную цель. Поэтому и движения фигур вокруг тела, направленные на то, чтобы удержать, не имели никакого смысла. Стекающий мрамор лишь касался фигур, их одежд, касался лица, губ Марии, земли, продолжая движение. Человек, с вывернутыми суставами, с бессильно, неестественно выкрученным плечом, головой, склоненной к лицу Марии, невесомо длящейся другой рукой, касающейся плеча Магдалины, длинными кистями, ступнями, с плоским, расплюснутым телом двигался в никуда, в бесконечность. И только Никодим пытается поддержать, удержать. Он один возвышается над фигурой Христа, и если обойти Пьету сзади, то видишь согнутую в напряжении спину, дугу всей фигуры Никодима, прикрывающей тело снятого с креста, и, самое потрясающее, следующей за ним. Никодим — это сам скульптор. Это его лицо под капюшоном. И только его взгляд обращен к лицу Христа. Ось, начинающаяся в пересечении линии наклона плеч и головы Никодима, продолжается через изломы, повороты торса Христа, резко, отвесно падает вместе с левой рукой, разрезающей фигуру Христа и Марии, продолжается в изломе правой ноги и одновременно соединяется с рукой Магдалины, завершается в ступне, касающейся земли. Никогда, ни один художник до него не осмеливался на такое напряжение. Никогда, ни один художник до него не поднимался до такого понимания своего труда. Он, старик, понимал это. В этих фигурах не было ничего из того, что должно было быть. Ни сострадания, ни жалости, ни любви. Он делал

это для себя. Рубил мрамор ночами, после работы в Ватикане. Он делал надгробие себе. Он делал свой автопортрет перед уходом в вечность, в темноту, в неизвестность, куда ушел снятый с креста. Он следовал за ним.

Я стоял перед Пьетой. Капля медленно и холодно катилась с нижнего века. Я твердил себе:

— Человек такое сделать не может, человек один такое сделать не может.

Ты сказала:

— Пойдем, куплю тебе кофе.

Капелла Медичи

Извечный страх художника нарушить первозданную красоту материала, которую художнику необходимо уничтожить без каких-либо обещаний результата, равного или хотя бы приближающегося к нарушаемой гармонии. Камень, чистый холст, лист бумаги. Их поверхность прекрасна. Большинство скульптур Микеланджело в капелле в той или иной степени не закончены. Никто из художников того времени не осмеливался на такое. Мастер выбирает мрамор Каррары на восходе солнца, когда первые лучи, касаясь еще холодного камня, медленно освещают искрящуюся поверхность, проникают глубоко в толщу, высвечивая чистую, дышащую плоть. Камень дорог. Работа могла быть прервана в силу обстоятельств, но тогда она не принималась заказчиком. Или работу продолжали другие.

Капелла Медичи проста. Серо-зеленый мрамор, строгая графика, ниши по стенам, скульптуры. Над саркофагом Лоренцо и Джулиано, с двух сторон от фигуры Марии с Младенцем, Вазари, отвечавший за завершение работ в капелле, поместил скульптуры Косьмы и Дамиана, законченные учениками Микеланджело. Эти две фигуры обращены к Марии. Но странное чувство возникает, когда смотришь на все три. Фигуры Косьмы и Дамиана, начатые самим Микеланджело, кажутся после завершения многословными, запутавшимися в бесконечных складках одежд, со всеми своими пальцами, кудрями и театрально-трагическими глазами и открытыми ртами. Они с удивлением смотрят на мрамор, только слегка тронутый мастером. Едва на-

меченная ткань, фигура Марии, почти не отделенная от камня, Младенец.

Я стоял в растерянности. Я понимал, почему он заканчивал те или иные части скульптуры, понимал, знал, как он это делал, какие инструменты использовал, как часами полировал мягкой кожей мрамор, добиваясь свечения живого тела. Это можно было представить. Стало холодно, будто подуло. В капелле не было окон. За метровыми стенами пекло солнце. Можно было дотронуться до желтоватого, с коричневыми прожилками мрамора, вобрать прохладу серого камня стен. Холод обволакивал спину под рубашкой. Я не понимал, почему он не продолжал работу, почему, закончив всю фигуру, он оставил голову почти не тронутой. Этому не было объяснений. Что заставило его остановиться, что ему удалось слышать, что давало ему уверенность в ненужности продолжения работы?

И в этой недосказанности, незавершенности и есть суть, смысл скульптуры как продолжения камня, выявления скрытой красоты, текучести, мягкости каррарского мрамора, его способности светиться, освещать пространство вокруг. Красота форм человеческого тела есть продолжение красоты камня. Любовь к материалу, преклонение перед работой природы, миллионы лет превращающей известняк в светящийся мрамор.

Пьета Ронданини

Это была его последняя работа. Знал ли, догадывался? Или просто не думал, рубил мрамор. Сколько лет прошло с того дня, как он начал этот камень. Мрамор молчал все эти годы. Фигуры становились лишними, он отсекал их. И только сейчас... Камень податливо откликнулся, не удерживал его руку, впуская в себя, в чистую, сокрытую плоть, только ему открывая белоснежную, светящуюся тайну. И старик благодарно, легко касался мягкой, дышащей поверхности. Исчез страх, беспокойство, неуверенность. Все уже случилось. Тело неумолимо скользило из никуда в никуда. Руки Матери были бессильны остановить это движение. Она прижималась к Сыну, сливаясь в единое тело. И вместе

они спускались, скользили, укрытые дугообразной мраморной складкой, повторяющей движение Матери и Сына. Старика больше не занимали прекрасные мраморные тела, которым он дал жизнь. Только эти двое. Все, что ему осталось, — попросить у мрамора отпустить их, отпустить его.

Оплакивание

Тициан умер во время эпидемии чумы. Его сын Орацио умер месяцем раньше. Художника нашли на полу его мастерской. В руке была зажата кисть. Там же, в мастерской, остался холст, Пьета, последняя работа Тициана.

После десятков залов, наполненных работами Венецианской школы, после лавины имен, без сил, без воли к продолжению смотреть и вообще находиться в Галерее Академии, мы добрались до зала с Пьетой Тициана. Я не знал, что эта работа здесь, и вообще, я никогда не видел этот холст даже в репродукции. Как такое могло случиться после стольких лет, проведенных в классах истории искусств в двух государствах на двух континентах? Возможно, именно для этой встречи в Академии.

Смотришь на холст, все понятно — мазки, линии, касания кисти, каждое движение ясно и объяснимо. И охватывает дрожь, потому что ничего объяснить невозможно. Великая, прекрасная тайна. Такая живопись не могла появиться в конце XVI века. Да ее и не было. Не было ее и у самого Тициана. Работа закончена, за исключением нескольких мест, которые дописал его ученик Якопо Пальма Младший, сам и указавший эти места. В Пьете нет видимой демонстрации мастерства, нет игры, виртуозности. Такое чувство, что художник отказывается от делания искусства, от демонстрации своих возможностей. Искусство вывернуто наизнанку, обнажая сам процесс создания. Это случилось впервые. Старик любовался тщательно растертым пигментом, как живым существом, доверившимся художнику. Вышедший из под власти правил и незыблемого порядка последовательно наносимых слоев краски, грубо положенный мазок, не успев высохнуть, перекрывался другим, становясь плотью, камнем, тканью, воздухом. Получив свободу и доверие художника, материал платил старому мастеру возникновением

новой живописи, живого письма. Форма перестала быть жестко очерченным пятном, материал перетекал из одной формы в другую, как жизнь в смерть, смерть в жизнь, разрушая страх, исцеляя боль, вселяя надежду в самого художника. Тело Христа, лежащего на коленях Девы Марии, обретало свет, мерцание, глубину, плотность — жизнь, короткую человеческую жизнь, вопреки изображаемой смерти. И, касаясь руки Христа, склоненный перед ним Никодим, сам художник, давал мертвому телу жизнь на своем холсте.

* * *

Мы вышли из Академии и поднялись на мост через Большой канал. Теплые доски мягко пружинили под ногами. Дневное солнце еще оставалось горячим, слепящим. Я пытался вспомнить название цвета. Будто провели стирательной резинкой в памяти, оставив пахнущий горелым след. Здесь, между венецианской водой и небом, вспомнил, церулеум, голубой кобальт. От латинского caelum, небо. Небо над Большим каналом, остывая от жара летнего солнца, как на фресках Джотто, превращалось в небесно-голубой кобальт вокруг твоих волос. Звенящие капли слетали с колокольни Санта-Мария-делла-Салюте и, на мгновение повиснув в сверкающем воздухе, не успев коснуться воды, рассыпались в мириадах отражений. Легкая тень касалась твоего лица, сбегала по краю подбородка к шее, ныряя в синезеленую глубину под ключицей. Обнаженная рука принимала на себя всю силу медленно опускающегося за вылинявший купол Санта-Кроче солнца. Слепящие лучи пытались коснуться твоих глаз, но, наткнувшись на козырек ладони, довольствовались игрой янтарных всполохов в волосах. Воздух наполнился голосами идущих по мосту, звуками скользящих по дрожащему ультрамарину воды лодок и катеров с задранными носами, затихающим колокольным звоном, скрывающимся под тяжелым бархатом канала, как опытный ныряльщик, не оставляя всплесков, всхлипыванием под днищами привязанных гондол, запахом водорослей, облепивших сваи, и мокрой штукатурки нижних этажей домов. Начинался вечер.

2020–2024

Лонг-Айленд — Италия — Нью-Йорк

ПОЭЗИЯ



Алексей Дьячков

БЕЛАЯ РЕКА

Б.К.

Не говорить с собой, не плакать,
Не рвать рубашки без конца.
Дом пуст, разводит дождик слякоть
И лупит по доске крыльца.

Шумит листва холодным душем.
И на душе не гладь, не тишь.
Зачем кряхтишь, встаешь с подушек?
Зачем у зеркала стоишь?

Халат атласный не по чину.
С прозрачным камушком кольцо.
Найдут глубокие морщины
Себе красивое лицо.

И ты найдешь и год, и место,
Вдохнешь в апрельском Риме дым,
Сойдешься с Кипренским Орестом,
Порвешь с Сильвестром Щедриным.

Измажешь помазком щетину,
Забудешь время, страшный век.
Смеется в зеркале мужчина,
С кровавой ранкой человек.

Он хмур, он дышит перегаром,
Он улыбаться не привык.
Скажи ему: Adieu! — пока он
Не показал тебе язык.

У ПОДЪЕЗДА

В двенадцать распахнулась твердь небесная,
Посыпал дождь, как обещал прогноз.
Апрель по небу черными порезами
Кровь расплескал — зеленую, всерьез.
Над кромкой ледяной стена разрушена,
Сползают тени, кладку изодрав.
Во сне ничьем играют дети в Пушкина,
Влюбляются, стреляются — пиф-паф.
На лавке, обхватив себя ладошками,
На жизнь старушка смотрит, боже мой,
Как топчет голубь лапками затекшими
Знакомый символ, крестик меловой.

ДОБРОХОТ

Зарос огород, и вот
Жилья не видать в зазор.
Вертушка калитки от-
Сырела, как весь забор.

Туман на земле осел.
Роса поднялась давно.
Не греет почти совсем
С чужого плеча пальто.

От ужаса в голове
Сбегу, как герой кино.
Не видно тропы в траве,
Не ходит ко мне никто.

Не совесть, не скорбь, не страх,
Слезятся без слов глаза.
Молчанье не добрый знак.
Сбежать от себя нельзя.

Вернусь под дождем косым
Уставшим, почти без сил,

Почувствовав сладкий дым
На месте, где я курил.

Повесив пальто на гвоздь,
К окну обернусь на миг.
Ну что ты, незваный гость,
Стоишь, головой поник?

АРХАИКА

Мама пустошь, живая окраина,
Сдуй с винила болгарского пыль,
И плыви по дорожным царапинам
Сквозь нивяник, пырей и ковыль.

Всю неделю гудели без просыха,
По кювету собрали репей.
В отделенье приемном без воздуха
Задыхаемся с хрипом теперь.

Оптом дождь, а магnezия в розницу,
Сладким дымом пропахли люля.
В колеснице на небо возносится
В одеяниях белых Илья.

Помогли новобранцу два гаврика,
Медсестра от испуга бела.
Серпантинка из бухты Нагаева
До Костаки меня довела.

До запруды и скачущих блинчиков,
До покоя на старости лет.
До отчаянной веры язычников
В лотерейный счастливый билет.

Тишину ждет дорожка с задирами,
Торопливо хирург тянет нить.
Завершающий кадр перед титрами
Долго будет во сне приходиться.

* * *

Он забирал ее из садика —
Из домика на узкой улочке.
Он ждал тех редких встреч, как праздника.
Она любила сок из трубочки.

Заливисто смеялась девочка,
Старик хихикал не по возрасту,
Когда играло солнце мелочью,
Холодный воздух медь расплескивал.

Стекло витрин ходило пятнами,
И кроны разбегались ветками...
Куда-то рай от деда спрятали
Пространство-время многомерное.

Слизнул коллапс Растяпу мелкую
В вишневом худи с модной вышивкой,
Когда в Америку уехали
Ее родители-айтишники.

Увлёкся он ходьбой спасительной,
Сурепкой борется со спазмами.
Она звонит ему по видео,
О Чайна-тауне рассказывает.

О сладкой, виноградной осени
И брошенной в лагуну денюжке.
А в рыбки розовые, Господи,
Лиловые, ты веришь, дедушка?

ОТПУСК

Назови берег с рыжими соснами Грузией,
От зеленого неба ослепни на миг,
И тогда на цветные стекляшки и бусины
Всех божков обменяю алтарных моих.

За побеги рабы, за растраты начальники —
За застольем моим соберется народ.
Вот оно мое завтра, такое печальное,
Вот семья моя, душеприказчики вот.

Выступает закат виноградными гроздьями,
И шипит вдоль кустов: Ты остынь, ты остынь.
Вот руины безлюдные. Вот моя родина —
Нежилая окраина, серый пустырь.

Ненадолго прощай, до свиданья, Америка,
Я устал от чероки и сиу давно.
Поплыву, спрыгнув вниз со скалистого берега,
И уже никогда не нащупаю дно.

ЖИВОЙ

Придет к больному белая река,
Засыплет склон измятыми бумажками...
Счет оборвется после сорока,
Отпустит медсестра ладонь обмякшую.

Взмахнет крылом большой птенец в окне,
Пейзаж квадратный раскачает перышко.
А в поезде мигает свет в купе,
И в тамбуре позвякивает стеклышко.

Любой с печалью наблюдает гон
Листвы белесой за стволами голыми.
В дороге отвлекаешься легко
От горестей пустыми разговорами.

На склоне эхо слушают врачи,
Когда диспетчер кашляет по рации...
Безоблачное небо различит
Больной, очнувшись после операции.

ОСИНАТО

По утрам замерзают дома в переулке,
И тревоги глухой тяжело избежать.
Говорят, что для сердца полезны прогулки. —
Если снег не обманет, пойду подышать.

Над балконом ДК набухает лепнина,
Белый Пушкин послушных барашков пасет.
И стремительно с желтых фасадов Эвклида
Расползаются трещинки за горизонт.

Негатив детских лазилок, горок, качалок,
Крон деревьев, поэта с разбитым лицом. —
Оставляет на детской душе отпечаток
География родинок, шрамов, рубцов.

Незатейлив орнамент ограды, скамейки,
Интерната, котельной с кирпичной трубой.
Может быть, в снегопаде найдется лазейка,
Чтобы с долгой прогулки вернуться домой.

Анастасия Тимофеева

ИСЧЕЗНУТЬ ЧТОБЫ ПОЯВИТЬСЯ

* * *

— Какой сегодня день?

— Не помню.

Не помню даже — днем ли это было.
Вхожу в бесплодые мыслей мне чужих,
в бесплодые чуждых мыслей мне вхожу,
в порочный круг сомнений, в гул далекий,
гул неизведанный, жестокий.

Откуда он?

Давно попал сюда? —
когда попал сюда?

— Какой сегодня день?

— О чем я?

Вот же, вспомнил —

в случайном том саду я вишню рвал и жадно ел.

Потом вдруг оглянулся — за мной весь город в очередь стоит.

Я отошел, конечно, поделился.

Но всем, увы, тех ягод не хватило —
давка, крики.

И я решил дожждаться голубики.

Она дика, ее-то уж на всех, надеюсь, хватит —

Лес общий.

Пусть идут,

пусть собирают и поют

родные песни

родные песни на родимых языках

— Какой сегодня день?

— По телевизору сказали — девяносто третий.

* * *

посвящается С.Л.

затем, что сидеть у окна в ожидании движения жизни, лет так в семьдесят или восемьдесят захотят и будут многие, но не все. И не важно, будет ли это окно выходить на улицу под названием Школьная со скользкой дорогой, по которой мелкими шажками будет идти повзрослевшая внучка с подружками, или из него будет виден красивый парк в Южной Калифорнии — там, где почти всегда лето, где пальмы касаются изнуренного от жары неба, там, где тебе скорее улыбнутся при встрече, чем отведут взгляд, лишь бы не здороваться в неловкую минуту столкновения лицом к лицу.

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?

произносит мама двоих маленьких детей, один из которых больше года болен лейкемией, и ест ввиду своих особенностей здоровья только дорогую органическую еду и разные смузи (от которых его иногда все равно тошнит). За высокими чистыми окнами в его детском госпитале тоже колышутся от жаркого ветра пальмы, которые по понятным причинам не радуют семью так, как могли бы. А если и радуют, то при кратковременной выписке домой. Там окна не такие чистые, и не такие огромные, но радуют больше.

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?

спрашивают люди друг друга в переписках в различных мессенджерах, и сквозь сотни тысяч строк проступает боль огромным пятном, которое вывести уже не получится

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?

спрашивает человек, который проснулся в четыре часа утра от бессонницы и готов идти или ехать куда угодно, лишь бы не думать о тех необычных и невероятно реалистичных снах о нашей действительности и ее будущем. Каково оно?

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?

говорит другу тот, кто ничего никогда не напишет на тему их разговора или его послевкусия. Возможно, придумает тихий бумажный текст, но сожжет его еще в подсознании, не записывая в электронный блокнот.

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?

будут наперебой спрашивать у себя в голове те, кто никогда не затеет беседу на дружеском ужине чтобы не разрушить и так тонкую связь, выстраиваемую годами, которая по сути стала чередой неслучайных случайностей?

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?

задаст себе вопрос тот, кто сидит в машине
и выгадывает минуты, чтобы не идти раньше
на нелюбимую работу, которая позволяет выжить
в этом несуществующем для него/нее мире,
в котором уже потеряно место и какая-либо
ориентация в пространстве. Лишь когда сработает
чья-то сигнализация на парковке, будет ясно,
что на работе в этот день поставят опоздание.

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?

спросит себя тот, кто каждую минуту готов
поехать туда, куда очень хочется, и не хочется,
куда возможно придется, так как все мы не вечные.

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?

спрашивают тебя часто, или редко,
спрашивают тебя все или никто,
а если никто,
то

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
?

* * *

Самое тоскливое — убираться в квартире
родного человека
разбирать его вещи
оборачивая все ненужное листками от старых газет
и лишь самое памятное — оставлять себе

прижимать к губам
смахивать пыль с бархатных фотоальбомов
с картонными вставками
всматриваться в черно-белые фотографии
и долго крутить в руках пепельницу из стекла
кирпичного цвета
в которую когда-то падал пепел «Беломорканала»
открывать сервант в котором давно засахарились
в пиалке конфеты «Раковая шейка» и «Цитрон»
сидеть на то место на диване которое было
излюбленным
то с которого удобнее всего было смотреть телевизор
понимать что с кожаным портфелем из которого торчал
березовый самодельный веник —
уже никто
никуда
никогда не пойдет

понимать
(и не хотеть принимать)
что от родного человека остался только хлам
а самого человека нет
и не будет

интересно что останется после меня?
NFT-токены проданные на Blockchain?

Андрей Гущин

СПАСЕНИЕ БАБОЧЕК

* * *

Солнца, солнца-то сколько, гляди, намело,
Из пустыни надуло.
И уже не спасает двойное стекло
От вселенского гула.

Не пришел, не увидел, не победил.
Все пошло не по плану.
И дороги ведут через призрачный Рим
К океану.

* * *

Пророческий сумбур событий
И стук упрямый каблучков.
Остановить, остановить бы!
Он вышел, вышел, был таков,

Продолжив путь до Трех вокзалов,
И до куличек, до Курил.
Она ему носки связала.
И лишь о главном не сказала.
Замялась, так и не сказала,
А впрочем, он бы не спросил...

* * *

Ни марша, ни белого платья.
Лишь мускусный дух конопли.
Тебя заключают в объятия
Мохнатые лапы земли.

И душно тебе, и тревожно.
Надейся на русский авось.
Отныне все станет возможно.
Все сбудется, что не сбылось.

СПАСЕНИЕ БАБОЧЕК

Откроешь окно пошире,
Стараешься выгнать пленниц,
Чтобы витали в эфире
Миниатюрные мельницы.

Но что-то их отвлекает
От собственного спасения.
Свобода теперь пугает
Возможностью воскресения.

Просто их срок подходит,
Полет бесполезный труден.
Они покорились природе,
Как некоторые люди.

* * *

Прольется на поля елей.
Сойдет увядшая зеленка.
Порвется все, что было тонко,
Под клич печальный журавлей.

И брызнет красками на холст
Зимы фисташковое солнце.
Оно в лицо тебе смеется,
И чепчик на затылок сполз.

* * *

Ясный пане Элохим,
Принеси любви морошку,
Будем стряпать понемножку
В пору бесконечных зим,

Чтобы черствая душа
Даже на морозе таяла.
Чтобы резать без ножа
По сердечному металлу.

И вотще не горевать,
Зная обещаниям цену,
Залезая под кровать
От безжалостной сирены.

Добрый доктор Элохим,
Отчего недуг так труден?
Головы моей на блюде
Жаркий пламень, горький дым...

Алексей Чердаков

ТЫ МНЕ НЕ ВЕРЬ

* * *

Мальчик шепчет: «Господи,
Высоко до звезд, поди?»
— «Высоко до звезд, поди...»,
Отвечает Господи.

Мальчик шепчет: «Господи,
Много ль будет слез в пути?»
— «Много будет слез в пути...»,
Отвечает Господи.

Мальчик снова: «Господи,
А нельзя их вскользь пройти?»
— «А нельзя их вскользь пройти...»,
Отвечает Господи.

...И, не свой от горести,
Зло кричит: «А кто есть Ты?»
Все кричит: «А кто есть Ты?...»,
Долго в темноту.

* * *

Ты мне не верь, не верь, не верь,
Когда в твою стучусь я дверь,
Когда стихи тебе пишу,
Ты мне не верь, не верь, прошу.

Метлой из сердца прогони,
В пустыню полночи, в огни...
Без сожаления и сцен —
Совсем, совсем, совсем, совсем!

Пусть под окном твоим стою,
Пусть лезу в голову твою,
Ты все равно, не верь, не верь...
Ни после смерти, ни теперь.

Ольга Сульчинская

НА ПОЛЯХ ИЛИАДЫ

1.

Сентябрьский воздух пуст.
В цветах закончился мед.
Время, любившее нас,
Скоро к другим уйдет.
Лови ладонью русый ручей,
Солнечную прядь.
Кто был счастлив, тот знает, что
Ему предстоит терять.

2.

Троя падет неизбежно. Но впереди
Десять лет подготовки к походу и девять — осады,
В сумме целая жизнь! А что холодок в груди,
Это можно привыкнуть, будто бы так и надо.

Будто только другие обречены.
Помнишь, как Фетида пыталась спасти Ахилла?
Корабли уводила, насылала дурные сны...
Но на каждую силу найдется другая сила.
Все равно он погибнет на последнем году войны.

Проживем, что отпущено! Любуясь, как пляшет пыль
В полосе заката, нюхая нашатырь,
Если станет худо, и не подавая виду,
Что мы знаем будущее. Покуда на море штиль
И еще Ифигения не прибыла в Авлиду.

3.

Что такое десять-пятнадцать лет
Для единственной жизни?
Почти пустяк.
Вдоль дорог растет бересклет.
В доме цветет Телемак.
Где-то идет война и время.
Пенелопа ждет.
На каждый звук бросается открывать.
Потом, возвратившись на место,
опять ткет.
И пускает корни пустая ее кровать.

4.

Мне душно и страшно. А музыка ходит впотьмах,
Как будто чужая — не зная ни боли, ни страха.
Заблудшая флейта сумерничает на холмах
И тужит над Гектором в южной ночи Андромаха.

Как много созвездий! Как будто оставили след
Пролитые слезы над играми мальчиков взрослых.
Но сохнут. И небо бледнеет, и скоро рассвет,
И светлые блики волна оставляет на веслах,

И Неоптолем уже видит отлогое дно,
И мышцы гребцы напрягли для последнего взмаха,
И, музыка, где ты? Но флейта умолкла давно,
И мертвое тело уснула обняв Андромаха.

5.

Я жду тебя давно. Уж мирозданье
Состарилось, а мне и постареть
Все некогда. Работа ожиданья
Не оставляет времени на смерть.

...на жизнь. Я взглядом напряженным
 Ловлю твой парус в море, кораблю
 Путь расчищаю. Что другого женам
 И остается? Ждать. Я жду. Терплю. Люблю.

6.

Войны на всех окраинах. Душный сброд
 Просто хочет крови и даже не рвется к власти.
 Победителям придется кормить сирот
 Самой разнообразной масти.
 Здесь-то, в центре, практически тишина.
 Цены, правда, растут. Только уксус не дорожает.
 Время от времени кого-нибудь режут. Но, раз война,
 Это входит в правила, потому и не раздражает.
 Смеющийся изредка — избегает ранних морщин.
 Так что пасмурный день нам будет к лицу, подруга!
 Одевайся нарядно. Пойдем смотреть на мужчин,
 Пока они все не перебьют друг друга.

7.

...и медленный, чуть сладковатый запах
 цветущих роз. Колеблется душа,
 как воздух мреющий. Песчинками шурша,
 проходит жук. Он воздух держит в лапах
 передних и потом, подняв рога,
 трубит, пустое небо окликая.
 И небо обнимают облака, и...
 И время снова входит в берега.

Лада Миллер

ВРЕМЕНИ НЕТ

* * *

Оставшись, я уже не убегу.
Мы будем жить с тобой на берегу,
Делить еду и легкую работу,
Перебирать задумчиво песок,
Рожать детей, креститься на восток
И соблюдать, как водится, субботу.

В кувшине глина. В облаке вода.
Рука в руке... Прощать и обладать,
Чтоб не терять необходимый трепет,
Не в этом ли святая благодать?
(Когда в саду распустится беда,
Заголосим, но губы не разлепим.)

Я не о том, любимый, не о том.
(Уносит море тело, память, дом,
Знакомые до обморока лица.)
Я о начале. Все-таки уйду.
Остаться — это значит на беду,
Как и на счастье, взять и согласиться.

* * *

Очнемся — темно и рано. Откроем на небе свет.
Поставим на стол стаканы, да силы на радость нет.
Когда человек... Непросто — решиться: Теперь — пора.
Покатимся, как наперстки, в шершавый пролом двора,
Из сумрачного «всё в прошлом» — в ошибку и кутерьму,
Где осень мешает ложкой распаренную хурму,
Где листья глотают ямы, где ветер летит в плаще,
Где дворник еще не пьяный, а праздничный и вообще.

Когда человек смеется... Ты знаешь, я даже рад,
 Что все холоднее солнце (зато беззаботней взгляд).
 Из окон — то брань, то Шнитке, то юшка, то контрабас.
 Оглянемся на пожитки, взлетим — и... помилуй нас!

* * *

Наводнениям вопреки
 Мы поселимся у реки,
 Где волна умывает камни.
 Дом получится без затей —
 Двое взрослых, полно детей
 И еще — голубые ставни.

Ни фундамента, ни стекла,
 То ли радуга протекла,
 То ли небо упало в руки —
 Дом качается на ветру,
 В каждом облаке — по перу,
 В каждой ласточке — по разлуке.

Ты ворчишь — мол, о чем ты, Лю?
 Я ж тебя, как свечу, спалю,
 Дом непрочен, калитка хлипка.
 Отвечаю, смеясь: идем!
 Высоко, над слепым дождем,
 Прикоснись — заиграет скрипка.

Наводнениям вопреки
 Мы поселимся у реки,
 Где цветы раскрывают очи,
 Где боярышник ал до слез,
 Где на каждый немой вопрос
 Отвечают с улыбкой: очень!

* * *

На улицу б вышла, да улицы нет,
Как холодно улицы без.
Моих дорогих собеседников след
Вот только что был — и исчез.

Ушел, зацепившись за шляпку гвоздя,
Ни с чем не сравнимый покой.
А я повторяю — бояться нельзя,
И голос колотится мой
О стены, о кровли, о неба клубок,
Летит бестолково на свет,
А время идет и ломает каблук,
И вот уже времени нет.

Не жизнь, а потеха — гремят жернова,
Швыряют в несытую брешь.
...А слово услышу — и снова жива.
Утешь меня, слово, утешь.

Юрий Михайлик

У КРАЯ ЗЕМЛИ

* * *

Жизнь была холодна и нежна.
Дом в саду как забытый скворешник,
где тяжелую ветку черешни
можно было достать из окна.
Старый дом, нежилое жилье —
все трещало, скрипело и пело,
но в шкафу ты повесить успела
развеселое платье свое.
Полупразднество, полувокзал,
и прибой в трех шагах под обрывом
ночью грохал по каменным глыбам,
а под утро совсем исчезал.
Там, уткнувшись в песок головой,
поутру мы лежали с тобою,
принесенные этим прибоем
вместе с черной морскою травой.
Жизнь случайна была и слепа,
и точнее, чем горький рассудок,
штриховой карандашный рисунок
невзначай повторяла судьба.
Мы вернемся по старой тропе,
скрипнет дверь, и окно распахнется,
и тяжелая ветка качнется,
и согнется навстречу тебе.

* * *

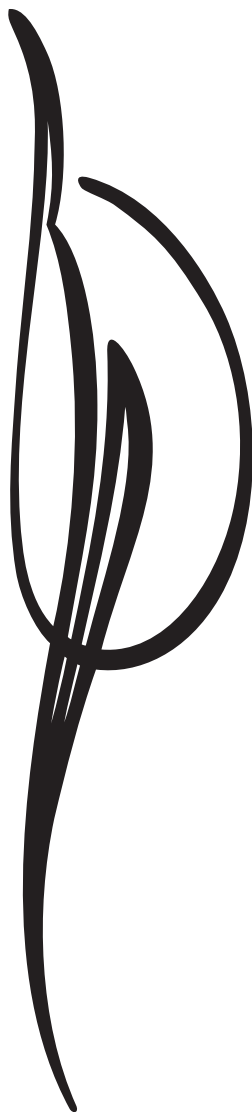
Никому не важны, никому не нужны
кроме этой — незваной, неожиданной — волны,
вдруг прихлынувшей с юга,
и на узеньком пляже среди рыжих камней,
среди шипенья и пеня — на тысячи дней —
нас качнувшей друг к другу.

Это утро — лишь память, обманка, дурман, —
но уходит рассветный туман за лиман,
и блестят над обрывом оливы,
зажигается солнце в оконной слюде,
и дельфины бликуют на сонной воде,
разгоняя ставрид по заливу.

Ибо память и радость у нас за спиной
родились и продлились забытой волной,
закачались тревожными снами,
ускользающим ритмом, в котором волна
через море и горе, сквозь все времена
шла по свету за нами.

Нашу долгую жизнь дочитав по слогам,
нам уже не добраться к своим берегам,
к утру, к счастью, к туману,
но у края земли — солона и вольна,
нас обнимет забытая нами волна
и вернет океану.

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Елизавета Евстигнеева

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

*

Кому-то и святой Петр — швейцар.

*

Из множества согласий состоит отказ.

*

Бабочка — насекомое, ставшее стихотворением.

*

Сушеный армянский инжир. Портретная миниатюра моей бабушки.

*

Мужчины создали автоматические двери, чтобы никогда не придерживать их перед женщинами.

*

А когда август прохутился и стал капать неоправданными ожиданиями, как сломанный кран, и тетрадно-пенальное 31 августа зияло над всеми нами, восьмым чудом света было услышать с кухни: «Доча, иди сюда, папа купил арбуз».

*

Поздороваться с камнем и увидеть в нем свое будущее.

*

Черничный торт моря со взбитыми сливками облаков.

*

Словно по весеннему льду ступаю: подстригаю ногти младенцу.

*

Я разрешаю облакам плыть. Я разрешаю деревьям шуметь.
Я разрешаю времени идти. Над всем остальным властен Бог.

МОЛИТВА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Господи, не смею Тебя гневать. Смилуйся надо мной, что каждое воскресенье причащаюсь латте с ванилью вместо вина и хлеба, что не отбиваю поклоны и не живу в вечнозоркой любви к ближним, что ближние мои линяют, мяучат и хотят больше, чем могу я им дать. Вразуми меня, не оставь на полу супермаркета, не дай уйти с пустыми руками с этой земли, помоги мне найти лепесток Рая даже на немытой кухне накануне пересдачи по античке.

И, Господи, пожалуйста, пусть живут долго и счастливо мама, кошка и бариста Люба из «ВкусВилла».

*

До того больной, что целая личность.

*

Слеза: буква горя.

*

Ноябрьское утро. Я бы вручила ему медаль за оборону тишины.

*

Поздороваться с камнем. Погладить траву по шерсти. Покормить с ладоней снег. Пободаться с котом. Быть человеком так просто.

*

Бабочка. На ее внезапности держится весь мир.

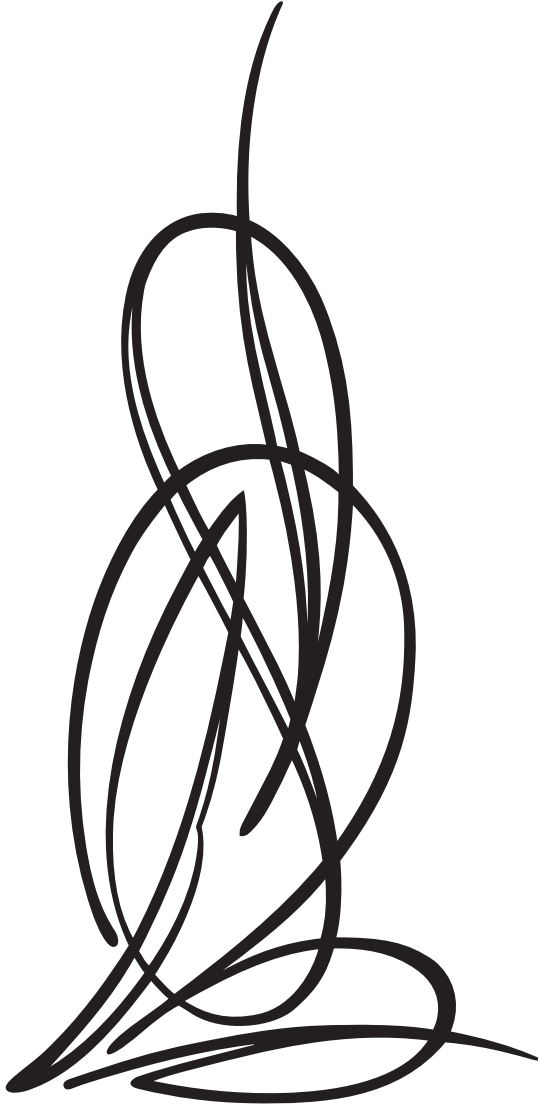
*

Возле храма смиренно стоит прихожанка-яблоня, подвязавшись голубой косынкой весеннего неба.

*

Счастье — стихотворение без названия.

ПОЭЗИЯ



*Борис Херсонский***СТИХИ 2022-2023**

* * *

Эта церквушка — Дом Бога, но и живущих в округе,
 где все знают друг друга и знают всё друг о друге.
 Знают все факты. Знают все сплетни и слухи.
 Дух Святой обитает в церквушке. В округе — нечистые духи.

Но и нечистый дух — нижняя челюсть корытом —
 может в ночь Рождества добела быть отмытым.
 Пробраться в чью-то квартиру. Постоять под горячем душем.
 Поглядеться в зеркало — полезно погибшим душам.

Все хозяева в церкви. Жилье на часок опустело.
 Можно нечистому духу обрести чистое тело.
 Откинуть копыта. Обрести нормальные стопы.
 По какой ни пойдешь дорожке — всюду Спасения тропы.

В эту ночь — раздолье врагу. Он получает поблажку.
 Можно вывалиться в снег. Налить себе кофе в чашку.
 Проверить, поставил ли Библию хозяин на книжную полку.
 И какие подарки поставлены под нарядную елку.

О, сколько преображенных, на вчерашних себя не похожих!
 Вслед за следами копыт — оттиски маленьких ножек.
 А потом и следы исчезают. Видно, духи к небу взлетели.
 В эту ночь у них получилось. А они и раньше хотели.

* * *

Мы хотели быть буфером между двумя мирами,
 или, вернее, безднами — интересно, какая бездонней?
 А на поверку вышло, что были мы комарами
 или, сказать точнее, мотыльками меж двух ладоней.
 И сила наша где-то там, за морями и за горами.
 И вместо пения ангелов мы слышали гвалт вороний.

И облака вскипали, от света нас ограждая.
 И разрастались леса на месте бывлой порубки.
 И шелестела листьями поросль молодая,
 и радовалась, как хозяйка после удачной покупки.
 А мы сидели в сторонке, дырявую память латая,
 путая даты, не различая фантазии и поступки.

И обезлюдели села, и города обнищали,
 и в чистом поле ржавели комбайны и танки,
 генеральские униформы по швам трещали,
 и в подвалах стояли без дела трехлитровые банки,
 И, когда-то прекрасные, женщины кутались в шали,
 и рыбы плыли куда-то, но не брали приманки.

Но книги в камин не бросали — там догорали поленья.
 Мы еще пригревали облезлых любимцев домашних.
 Цепь времен порвалась, и рассыпались звенья.
 Раз в два года заглядывал юных дней однокашник.
 И скакал на бледном коне всадник из Откровенья,
 и завтрашний день был копией дней вчерашних.

* * *

На границе тучи прохаживаются хмуро,
 а в центре хоть бы облачко на небосводе.
 В столице всегда найдется время для перекура.
 Ступенька выше — и вот она, синекура:
 последние времена, но все — по последней моде.
 Не всякий штык — молодец. Не всякая пуля — дура.
 И зачем волноваться? Все договорено, вроде.

Так что же тучи топчут поле приграничной лазури?
 Так что же поля покрываются едким дымом?
 Почему же Господь не отвечает из бури?
 Вдруг там не удержатся, и вмажут нам со всей дури?
 Почему народ запасается самым необходимым?
 Где мыло и спички, где — пицца и хачапури.

Пространство становится безлюдным и непроходимым.
 Все строят планы, а надо бы рыть окопы.
 Оружие для населения — это кирка и лопата.
 Для того нам даны сапоги, чтобы протаптывать тропы.
 Для того на каждой стене — подвижная карта Европы
 с отпечатками пальцев железной руки солдата.
 По звездочкам на погонах легко составлять гороскопы.
 Что будет — ясно. Неизвестна точная дата.

Между двух огневых точек проводится линия фронта.
 Она переименована в линию разграничения.
 Линия оживает, извивается, что анаконда,
 Где враг впереди, за спиною мужает фронда.
 В бою — легко, покуда здесь только ученья.
 Цены растут, но все ожидают дисконта.
 А долго ли ждать и надеяться — пока не имеет значенья.

* * *

Не грусти, красна девица, у маленького окошка.
 У тебя на завтрак овсянка, а на обед — окрошка,
 в кашу добавишь ягодки — черника или морошка.
 По двору твоему гуляют собака и кошка.
 Они живут правильно, так, как кошка с собакой.
 Хошь — говори по-русски, хошь — на мове балакай.
 Как ни начнется дело, а закончится дракой.

Не грусти, красна девица, с ведрцом у колодца.
 К ночи придет барыга — будет чем уколотся.
 Нужно предохраняться — иначе родишь уродца,
 президента, министра, не повезет — полководца.
 Милый ругает: чего лежишь, как колода?
 Закажи военную форму для ребенка до года,
 а как начнет ходить — сапоги для похода.

Не хрусти, красна девица, сухариком рядом с чашкой,
 вернется дитя из похода — будет размахивать шашкой.
 Погладь его по головке, накорми его манной кашкой,
 ты еще хороша и желанна со своею ночью рубашкой.
 В той рубашке вырез — видно груди наполовину.

Правая грудь миленку, левая титя сыну.
вечером — в баньку, миленок потрет тебе спину.

Не упусти, красна девица, молодость понапрасну.
Играй поддавки с соблазном — поддавайся соблазну,
придет почтенная старость, подарит грязь непролазну,
плачет лучинка — тлею, но скоро погасну.
Помолчи, девица, кому сдались твои речи?
Свет отключают — сгодится лучина и свечи.
Рубашка сползает, видны обнаженные плечи.

* * *

Что занесено снегом, что на чердак вознесено,
все, что было рядом, в пыльной Одессе, но
делось куда-то, не сыщешь среди зимы.
С карниза свисают сосульки на манер бахромы.
До моря идти полчаса. Но одолевает лень.
Лежишь на диване, как на льдине лежит тюлень.

Нужно тоже деться куда-то профессору кислых щей,
в старинный сундук, на склад ненужных вещей,
в затонувший корабль, в одну из ржавых кают,
на свалку истории, где на нас народы плюют.
Плюют, как верблюды, плевками утомлены.
Плевали бы больше, да не хватает слюны.

Да, нужно куда-то деться, куда-нибудь в никуда,
в подземных реках течет отравленная вода.
За облаками несчетно нереальных небесных сил,
и все тебя охраняют, хоть ты никого не просил.
Да, небо — та же охранка, с пристальной зоркой братвой,
странно, в толпе затесался неряшливый ангел твой.

Да я бы и сам затерялся в маленьком городке,
под надзором суровой бабы в деревенском узорном платке,
в предгорье, в долине, а то и на склоне горы,
где мужчины ходят с кинжалами, безопасными до поры.
На вид — суровы и яростны, внутри — бесконечно добры.
Нужно быть осторожным, не свалиться в тартарары.

Да, я бы и сам затесался, затерялся вдали,
 но притяженье дивана сильней притяженья земли,
 исчадия телеэкрана привлекательней вида в окне,
 безумные мысли придурка гениальны, но не вполне.
 Да, я бы и сам затерялся в снегах или в дыму.
 Мчатся на помощь скорые — неизвестно кому.

* * *

По секрету вечному свету и вечной тьме,
 смерть под боком, вечная жизнь в уме,
 щелкают счеты или часы, годы не в счет.
 Все сыпется, как песок, как вода из крана — течет.
 Течет речечка да по песочечку — уголовный романс.
 Живи еще хоть четверть века — символизм, декаданс.
 Ученик за партой или над картой или у черной доски
 топчет — топочет слабые просвещения ростки.
 Длится и длится скольжение, оборвется — и пусть.
 Десять таблиц унижения выучим наизусть.
 Спросят — ответим, не спросят — будем молчать.
 Опять-таки топать ногами, крышками парт стучать.
 Течет речечка да по песочечку, ох, берега круты!
 Живи еще хоть четверть века — хватит на всех пустоты.
 На подступах к городам бетонные блок-посты.
 В столах истлевают, желтеют исписанные листы.

ПОСМЕРТНО И.Б.

дорогой Иосиф сражение под Полтавой
 обернулось вечным позором и вечной славой
 говорят бежали хохлы и шведы сверкали пятки
 а Мазепа теперь на нашей хохляцкой десятке
 а на гривне пропащей святой Владимир креститель
 а гривне той грош цена святой Владимир свидетель
 жаль Карлу Двенадцатому места нет на купюре
 Святой Георгий кивает святому Юре

мы осколок Империи я живу на осколке
 Александр и Тарас рядом на книжной полке
 на крыше избы или хаты аист живет с лелекой
 хохол воевал с кацапом вернулся живым но калекой
 олимпийцы давно не прыгают проползают под планкой
 говорят допинг-смокинг с лихорадкою-лихоманкой
 привет вашему Ваньке и вашей красотке Таньке
 лучше ходить в вышиванке чем ездить в советском танке

дорогой Иосиф скажи из гроба доколе
 нам евреям завидовать скорбной славянской доле
 выбирать империи Древний Рим или Штаты за океаном
 или Русь святую с полным граненым стаканом
 был бы я шинкарем бородатым спаивал бы селянина
 был бы бравым солдатом так шел бы себе до Берлина
 есть только фашисты и наши ни Алькайды тебе ни Игила
 но тебе-то что — молчит твоя островная могила

я живу на осколке Империи осколок лучше не трогать
 орел двуглавый об него обломает коготь
 лети он вороной вместе со скипетром и державой
 погладь его перья Эриния своей ладонью шершавой
 пусть тиран подавится вампирским имперским супом
 а мы проживем со своим оселедцем своим трезубом
 привет тебе от еврейской фаршированной рыбки
 танцуй хохол под звуки еврейской скрипки

дорогой Иосиф ведущий подрался с ведомым
 почему бы каждому не зажечь своим домом
 если сила в единстве то слабость все же милее
 поверь еврею хохлу с кацапским крестом на шее
 мы якобы дружбу зарыли быть может вражду зароем
 а пока в соборе епископы ходят воинским строем
 и тиран стареет но держится молодцевато
 и отставник у телика пьет и ругает НАТО

ПОСМЕРТНО И.Б. — 2

Дорогой Иосиф! Сражение под Полтавой
было просто батальной сценой, подножкой или подставой,
мемориальной доской «здесь когда-то горели шведы».
А куда они убежали — расскажут нам краеведы.
Эту легенду Русь доселе не расхлебала.
Ни одна лошадка при съемках не пострадала.

Но бюджет распилили, а инвентарь для деток
унесли актеры в награду заслуженных в школе отметок.
Из Закона Божьего — пять — рапортует Володя Ульянов.
Террорист Александр повешен, не перевыполнив планов.
Пан посылает войска — с холопов взыскать недоимку.
Каторжанин бежит без оглядки — ломаный грош за поимку.

Географ в лесу объясняет тамбовскому волку,
как на все закрывать глаза и клыки положить на полку.
В конце учебника перечислены опечатки.
Вдоль дороги топочут, сверкая, Ахиллесовы пятки.
Дорогой Иосиф! Напишем на дощатом заборе,
что Днепр, как и Волга, впадает в Каспийское море,

что вокруг Украины возведены кремлевские стены
и опричники искореняют остатки крамолы-измены.
Молчит царь-колокол у подножия великого Иоанна,
зато гремит попса с плоского телеэкрана.
И что нам делать теперь, укрывшимся с головою,
с восточную тиранией, азиатскую пахлавую.

Что снится тебе? Неужто небо в кремлевских звездах,
эпоха партийных съездов, отравленный ложью воздух,
неужто сомкнутый строй вооруженных плебеев,
в черном хитине, похожих на скарабеев?
Опальный Пушкин с бокалом грустит у камина.
Непонятно, Иосиф, зачем ему Украина?
Да и нам не слишком нужна северная коврига
с терпким привкусом татаро-монгольского ига.

Галина Нерпина

ХРУПКИЕ ДНИ

* * *

и покуда ты ночью не спишь —
в норах времени черная мышь
прогрызает
алмазные дыры

бессловесные плачут и лгут —
и подземные реки текут
на камнях оставляя пунктиры

расщепляясь
уходят слова —
обожженная глина жива
и внутри этой бездны окрепла

но ничем
не пожалует нас —
милость Божия вбита в каркас
цвета охры и пепла

2022

Испарилось и разверзлось.
Встало — задом наперед.
Беззастенчивая мерзость
на Фонтанке водку пьет.

Примет рюмку — выпьет обе:
черти выстроятся в ряд.
У солдата в изголовье
цифры черные горят.

И в отчизне разлюбезной —
за порогом забытья —
всё приплясывают бездны,
свирипеют остря.

ОКТЯБРЬ

пей же себя, хризантема!
в мутном бокале — игла...
сентиментальная тема
простоволосая мгла

огнь небесный и скрытый
листьев опавшая сеть —
их аромат ненасытный
в воздухе будет висеть

птицы салютом взлетают
шум их крупней и слышней
хрупкие дни коротаем
в призрачном царстве теней

непроходим и уродлив
каждому встречному враг
куст как живой иероглиф
спуск закрывает в овраг

ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА

...и покатится камнем блестящим
сойдет с иглы
у вселенной глаза незрячи
но колени ее круглы

никогда уже не приснится
забудет всех
потому что тогда простится
замолится этот грех

а еще бывает — над бездной
десятки лет
всё блуждает ее бесполезный
ее дребезжащий свет

и одна остается страшно
чернеть в пыли
как с узором из рыбок чашка
выкопанная из земли

* * *

медный колокол воскресный
с глубиною темнота

не сойдет огонь небесный
в этом храме никогда

опустившийся и смуглый
бестелесный словно ночь —

в пустошь белую не смог бы
ангел крылья доволочь

в книге бытия читаем —
на миру и смерть красна

что-то двор необитаем
что-то правда солона

БЕЛАЯ НОЧЬ

В неверном мареве сирени —
где сфинкс фортуны сторожит —
ночные разгоняя тени
кораблик по воде бежит

А где-то пьяница убогий
вновь примет рюмку или две —
и свет затеплится нестрогий
в его печальной голове

Забиты бедною фанерой
пустые окна во дворе —
зато Дианы и Минервы
и вспышка плазмы на заре

Природе лишнего не надо
ты знай плыви туда-сюда
там — сада Летнего ограда
а здесь — глубокая вода

Светлана Михеева

КНИГА МОЛЧАНИЯ

БОРОВСК

Сели на жердочку, тонкую лавочку.
Видим, что снег.
Кружит у башни, блуждает вдоль стеночки,
Как старикашка, сгибаемая коленочки,
Как человек.

Ползает мимо кровавого белого
В пúстыни лет,
В этом чистейшем пространстве евклидовом
Скоро обед.

Призраки иноков щемятся в трапезной,
Под ноги зрят,
Ибо от немощи несокрушимыя
Пóд полом рушатся узы фальшивые,
Камни горят.

В горло кусок не идет, как подумаешь,
Как ни юли.
Мы приближаемся к книге молчания
После того, как любви и отчаянья
книги прочли.

В сонмах фигур проплывающих нáд полом
Бродит озноб.
Словно Господь их опять переспрашивает:
Где протопоп?..

* * *

На поле, безветрием взяты в полон,
страдают бездвижные хрупкие рати.
А воздух, дрожащий от яда времен,
ложится и бредит на узкой кровати.
Он болен, такие идут до конца.
Сломив дождевую волшебную ветку,
орешник внимательный в позе писца
согнулся над столиком в черную клетку.

Он пишет травы куликовской урок
на мреющих сопках. Как древние книги,
уже ощутимо шевелят песок
из пушек палящие архистратиги,
но все же еще не вошедшие в раж,
и в этом начале дрожит узнаванье:
предчувствие прошлого, горькая блажь —
одно расставанье на все расстоянья.

Слепое сверканье событий и дней
свивается в молнию в это мгновенье
и топотом тысяч тяжелых коней
вторгается в комнату без разрешенья,
фантомы склоняются лицами в явь,
где жаждут себя обрести без возврата.
Орешник пускает по струночке вплавь
остатки больного осеннего злата.

Топорщатся ветры, вопят: не пущать!
И гонят листву, и полощут знамена.
И воздух, раздумав сейчас умирать,
целует раненья победного клена.
У дома струится слепая вода
в своем искупительном праве рожденья.
И женщиной медленной входит сюда
без предупрежденья.

* * *

Человек сливается с древним смехом,
Исчерпав обыденные слова.
Человек случается древним эхом
В потаенной области торжества.

И уже, глядишь, перевозку нанял,
И уже почувствовал, что пора —
Не бывает точных воспоминаний
В этой области космоса до утра.
В темноте, запоем — неразбериха,
Обещаний нервная череда.
Ты на вход, приятель, или на выход?
Ты туда, приятель, или сюда?

И его предчувствуя здесь отчасти,
Тело спящего ищет сухой ночлег.
Мимо бродит ящер бездумной страсти.
Тело спящей ловит последний снег.

Марина Эскина

НОВЫЕ СТИХИ

СОН

Я в лифт вхожу, чтобы ехать домой, домой,
но на каждой кнопке надпись — война, война,
из лифта не выйти, дверь заперта за мной,
заклинило, и судьба моя решена.

На выбор любой этаж в огне, под огнем,
понятно, что я уже часть этой смерти, смертей,
и жизни не жаль, зачем мы еще живем,
когда мы не в силах даже спасти детей...

октябрь 2023

* * *

Не знаю сколько еще это будет длиться,
не могу оторваться, смотрю в их детские лица,
кажется, если перестать смотреть,
их снова настигнет смерть.

Октябрь, под окном всю багровеют кусты,
вчера в них были только отблески огненной красоты,
сегодня в их горении дух иной:
каждый куст — купина, ведущая в бой.

октябрь 2023

* * *

Утро сегодня туманное, и будущий год в тумане,
хочешь не хочешь, но делая шаг вперед,
думаешь про себя: пусть ожиданье обманет,
а интуиция — подведет.

Пусть будут правы мишура серебряная, золотая,
шары сверкающие, ханукальный свет,
но дырявую память горе отлично латает,
горю забвенья нет.

декабрь 2023

* * *

Если на улице обратятся ко мне:
сколько лет
ты живешь в стране?
отвечу:
ровно полжизни,
ту ее половину,
в которой умерли родители,
выросли дети, не наделав бед,
родились внуки — их заместители,
половину, в которой Иерусалим, Кармель,
итальянские нежность и тяжесть,
кряжистые дубы Новой Англии,
а хурма по-прежнему вяжет;
половина, в которой
дамы с единорогом
и перцы,
фаршированные по маминому
рецепту,
еще многое...
родные сердцу
немолодые уже
лица
друзей,
набережные и столицы,
знаменитые площади
и городки провинций,
дюны двух океанов,
их подмывает прибой
и ураганы,
а время уносит с собой
пески памяти

и намечает курганы
 снов,
 странно,
 будто сквозь слюдяное окно,
 смотришь кино
 половины жизни.
 О, английские принцы Ван Дейка,
 знакомые по репродукциям
 с детства,
 они давно кивают
 с оригинала,
 но все равно не подозревают,
 что жизнь — копейка,
 уже который год,
 жаренная в духовке индейка
 на день Благодарения.
 Теперь ее подает
 и разделявает мой сын,
 господин стола.
 Мне достались
 гордость и жалость знания.
 А о чем — не важно, не помню,
 столько было дверей и комнат,
 залов ожидания...
 и не выполненное домашнее задание.

декабрь 2023

* * *

*Начиная с определенной точки возврат уже невозможен.
 Этой точки надо достичь.
 Франц Кафка. Афоризмы*

Эта точка достигнута и далеко позади,
 не награда, но и не утрата;
 когда понял, где ты, если можешь — иди,
 а не можешь — дорогу освободи,
 что крута и поката.

Отдышись на обочине, если удержишься там
от паденья, скольженья,
отвечая мычанием родственным заткнутым ртам,
ослепленным кротам,
узникам продолженья.

Если примет обратно дорога, то — в путь,
направленье вертляво, как флюгер,
продолжай наобум, напролом, как-нибудь,
только б ветру не сдуть, не смахнуть
твой шажок неупругий.

Неужели казалось, что движешься по прямой,
как вдоль свеженаписанной строчки,
из дорожной канавы глаза хорошенько промой,
обведенные долгих бессонниц сурьмой, —
ты достиг этой точки.

январь 2023

* * *

Сны мне выхолостила война —
этой шлюхе пришлось отдать
параллельную жизнь, что во снах жила, —
ни отец не снится, ни мать.

Даже друг не снится, какие сны,
когда ночью в Украине день,
никакой ностальгии — горя, вины
шапка полная набекрень.

Не боец я словесных и прочих битв,
я — улитка на склоне Фудзй,
кроме Оккама, много есть разных бритв,
но судьба сказала: ползи.

Мне не нужен ни флюгер, чтобы найти
направленье, ни GPS,

если зло окажется впереди,
обойду по краю небес.

Обыграю тихим ходом его,
даст Бог, переживу вождя,
хоть улитку так раздавить легко
теплым утром, после дождя.

март 2023

* * *

Я давно хожу вдоль Сены, Арно, Темзы, сегодня — вдоль Тибра,
тридцать лет и три года копилась моя свобода,
на каком языке, не разберу, промелькнули титры,
но понятно — не лезут в воду не зная брода,
ясно всякому, кто хоть немного знаком со свободой
кем ты не стал, оставаясь двоечником-уродом,
пелена упадает с глаз каждый раз с новым нашествием
варваров, от которого не спастись автостопом,
Рафаэлем, Караваджо, Тицианом божественным,
все утонет в жуткой воде потопа;
чувствуешь себя если не каином, то все равно причастным
окаянству, и плачешь и прячешь ненависть —
все того же зла слепую прислужницу —
за спиной мелкий бес, его неумная несеть
рыгает ракетами, снарядами тужится.
Тридцать лет назад Рим казался путем к решению,
смотришь на платаны, снова пробуешь быть счастливым,
но видишь не радугу завета, не свет пришествия,
а херсонскую крышу и диван, прибитый к Одессе приливом.

9 июня 2023

Надежда Келарева

НЕ ВЫХОДИ НА ЛЕД

* * *

И все-таки ни капельки не жаль,
Вчерашний день к земле, прощаясь, жметя,
Уставший снег лежит, устав лежать,
И воздух мартовский, едва окрепнув, рвется.

И все-таки ни капельки не жаль.

Чье имя вспоминаешь перед сном,
Чье имя перед сном не вспоминаешь,
Какая разница: ложишься-засыпаешь
Над талым снегом
Раннею весной.

Качает город, закусив губу,
Твою кровать, пока что не пустую,
И ты, ребенком, ягоду лесную,
Счастливый, ешь,
Покуда не разбу...

* * *

Тонкая веточка,
Горькая весточка.
Не выходи на лед.
Все возвращается,
Не прекращается,
Наперекор — живет.

Видится — трещина,
Мыслится — паводок,
Полный сапог воды.

Все хорошо,
Это только мерещится
Холод былой беды.

* * *

Обрадуешься: Боже, погляди,
Я многолюден, хоть и нелюдим.
Ощупываю долгой жизни пустошь.
Они со мной,
И разве их отпустишь?

Слоняются по снам
Туда-сюда,
Осенней рябью вышита вода,
И первые морозы дышат в спину.

И что-то ускользает навсегда,
Подхваченное журавлиным клином.

* * *

В детском лагере
Нацарапала свое имя
На прикроватной тумбочке.

Сиюминутный импульс,
Приступ вандализма
Или просто на всякий случай.

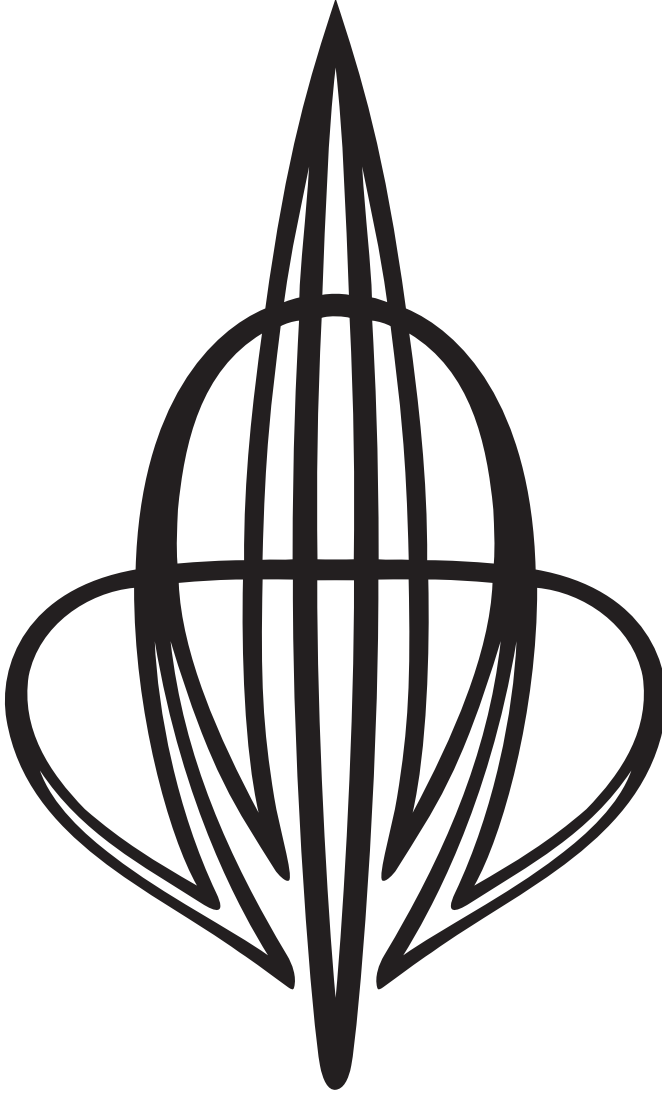
Здесь была Маша
Сергея Комар
Олег + Настя
Лето 2006
98
2020.

Это скрипит гаражная дверь,
Это древнюю сосну заплетает ветер,
Это гудит поезд Москва–Краснодар,
Это спины камней, ожидающие прилива.

Теперь это мы.

Прости нас, живое и неживое,
Все, что стало поверхностью
И теперь останавливает прохожих,
Повторяя такие личные,
Но такие случайные имена.

VERBA POETICA



Галина Климова

ДРУЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ ПОЭТАМ

ОТ АВТОРА

Жанр поэтических посланий — ровесник самой поэзии — один из самых распространенных и любимых в мировой и русской литературе. Его история грандиозна, и если крупными мазками, то — от библейских посланий пророков и апостолов, «Писем с Понта» Овидия, посланий Пушкина «друзьям единых муз», стихов Брюсова “Urbi et Orbi”, «оберцутского» и «пролетарского» посланий до «Писем римскому другу» Бродского и интернет-посланий современных поэтов.

Дружеское послание — неканонический жанр с большой степенью свободы, что вдохновляет поэтов и завораживает читателей. В послании позволено и уместно многое: шутка, ироническое подтрунивание, застольная песня или тост на «дружеской пирушке», притча, панегирик, упрек, признание и воспоминание с бытовыми или иными зашифрованными подробностями, понятными лишь автору и адресату. Очень важно, КТО и КОМУ пишет: их личности, характеры и взаимоотношения, определяющие интонацию, лексику, поэтику и даже сюжет стихотворения.

Инсайт дружеского послания — разлука. И срочно нужен разговор с другом, может, монолог или мысленный диалог с тем, кого нет рядом. Если не разговор, то письмо вслед — эпистола.

По выражению поэта Виктора Кривулина, дружеское послание — это «человекотекст», где сходятся личность автора и голос, составляющие единое целое с его стихотворением.

Дружеское послание обычно пишут и посвящают тем, кого любят и помнят, по ком грустят (но без элегического уныния и трагизма), с кем радостно общаться и ощущать духовное родство. Именно так появились эти мои послания дорогим друзьям-поэтам.

* * *

Сергею Надеву

1.

Вот и семейное деревце зацветает:
сплошь междометия на уроке зимы,
а всё казалось, тепла не хватает
и вроде бы стыдно попросить займы.
Ведь ни мне, ни тебе отдавать нечем,
и вдруг — зацветает,
растительный вызревает свет
лепестками,
тычинками,
возгласом человечьим...

Только речи о нас еще нет.

2. РЕКА СЕРЁЖА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Река Серёжа — кроткая река,
на мокром месте путь ее до Волги,
досрочного призыва облака
доносят:
матушка добра издалека,
да только вётлы солоны и волглы.

Река Серёжа — стремная река.
В ней стрежень — стержень,
первая строка.
Но, засмотревшись в зорких вод зеркало,
всю правду про себя вдоль русла расписала.

Река Серёжа — правая река,
и по весне волнением легка
до златоустья разлилась,
до красноречья.

Зато зимой, как в рот воды набрав,
 молчит, молчит (известный нрав!)
 и ждет —
 откликнется ли ей чехонь по-человечьи.

ОБЛАКА

Михаилу Письменному

Пришлые варяги — ушлые, как греки,
 облака в полнеба, тучи знатные
 шли на дело ратное,
 в форменные ватные
 в новые одеты телогрейки
 не заморского армейского сукна,
 серо-синие, но красная цена,
 шли в затылок, и макушка лета
 брита-стрижена под ноль
 того же цвета.

Помнишь, звезды в телогрейках и луна?
 Помнишь, как мы взапуски с ветрами
 зимними слетались вечерами
 в куртках легких на стакан вина?
 И стихи бубнили, как молитвы,
 веруя безбожно все подряд,
 в пресный рай,
 в остросюжетный ад,
 где военный театр и сцены битвы...

Телогрейки по небу летят,
 рукавами ангельскими машут.
 Никакие не варяги...
 Наши!

* * *

Владимиру Салимону

В праздничном сари из детской простынки,
в правом ухе сережка,
сама — босоножка,
кручусь перед ней
с хрипотцой патефонной пластинки,
стараюсь донельзя:
страна родная Индонезия...

Глаза — соленой воды алмазы,
циновка в прихожей — малая сцена.
— *Здрасьте, тетя Флора,*
богиня Флора с картины Пуссена,
я не сфальшивила ни разу!

Гжельской вазочкой для варенья
до краев наполнила мой день рожденья
и горло проверила сразу:
тетя Флора — серьезный врач.

О сыне, о сыне вила свою речь
всю в лианах — не общие фразы.

Хотелось ей дочку родить по весне,
ей, теплолюбивой Флоре,
укоренившейся не вполне
в коммуналке на Чистых,
в резко континентальном сне
с авоськой худого московского лета.

И в сыне своем она угадала поэта.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

Андрею Грицману

1.

По пьянке выкомаривая танцы,
 каналья Амстердам вихлялся на катке.
 Все население — как малые голландцы,
 там Ханс и Гретель в шерстяном платке,
 на деревянных чурках и сестра, и брат,
 и грезят о коньках не в лад.

Москва чудит сильней, чем Амстердам,
 ей даже черт не брат,

а мне — как мать родная.

«Снегурки», валенки...

Трамваи обгоняя,

в ушанке времени померклой
 бегом по Чистым вскользь прудам,
 по зеркалам

проворной водомеркой.

Метелит вальс. Продрогли огоньки.

Здесь где-то Гретель, где-то Ханс,
 веселый, на тебя похож.

— И кто б тебя узнал?

— Кто помнит Мэри Додж,
 ее «Серебряные коньки»...

2.

Обуреваемый прытью и плотью,
не прибит к берегу
и не пришпилен к платью,
ты не строй из себя боевую варяжскую лóдью,
выходя на простор камуфляжной гладью
или рябью — по Чистым прудам — стежками,
ты дерзко себя усмиряешь стихами,
на свет выводишь, не зная броду,
на чистую воду, как на природу.

Оттого на Москве такая погода,
и ты здесь — ветер без перевода,
во облацах и во языцах свободный
на все четыре сезона,
двойкодышащий, земноводный,
ты — русский ветер с Гудзона.

* * *

Алексею Алёхину

Чернорабочие родной литературы
истопники, ночные сторожа,
все правду-матку режут без ножа,
мастеровые цеха редактуры,
иду на ты — кранты...

Пока ведет судьба,
хоть кол теши, но не стирай со лба
е-мейлы, имена отъявленных талантов —
их небо как ремейк с оглядкой на атлантов,
их беспризорных книжек худоба,
неоперившиеся плечи,
аскеза речи...

Редактор,
раб своих галер,
для рифмы не нарвись на рифы, например,
на точку невозврата...
Узнай сестру иль названного брата
по голосу из горних сфер.

Каринэ Арутюнова

СКРИЖАЛИ ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ

«Дивись»¹, говорит, «дивись».
 Как устремленные ввысь
 Деревья плывут за окном.
 Жизнь обещает быть долгой.
 Дивись.
 Я и дивлюсь.
 Свету и тени.
 Каждому мигу дивлюсь.
 Будто молюсь.
 На языке, прорастающем
 на крови — Аствац², Элоhim ишмор³.
 Из каждой поры и капли — иди и смотри.
 Вот алеф. Вот бет.
 Видишь, скрижали эти истекают кровью.
 Вот и слово «террор».
 Так язык, обретая смысл, угасает во мне.
 Я выталкиваю, хрипя,
 глаголов поток. Низвержение основ.
 Извержение слов.
 Я умираю. Иссакаю с каждым мгновеньем.
 Было «насквозь». Стало «скрізь»⁴.
 Было «вдаль». Стало вдоль.
 Слово продольно,
 Как боль.
 Синеза, ослепительная до слез.
 Дивись, говорит, дивись,
 как реки, луга, небеса заполняют тебя,
 будто сосуд.
 Если любить, то, конечно же, «скрізь»,

¹ Дивись (укр.) — смотри.

² Аствац (арм.) — Бог, Боже.

³ Элоhim ишмор (иврит) — Боже сохрани.

⁴ Скрізь (укр.) — всюду, везде.

*Звонкоголосо пение птичье. Многоголоса, сквозь слово «марор»¹,
И сладкозвучна жизнь.*

31.05.2023, Киев–Варшава

Знаете, как оно бывает? Начнешь смахивать пыль с несметных залежей (книжных), обнаруживаешь свои давние любви и пристрастия, тебя накрывает, но ты совершаешь волевое усилие, взбираешься на стремянку, добираясь до немислимых высот.

Процесс запущен. Прокладываем тропинку между забытым, поучительным, смертельно скучным, никому не нужным, забавным, занимательным...

Фирдоуси и Голсуорси, Плутарх и Платон, Гегель и Фейербах, Бабель и Шкловский. А вот и мои детские книжки, мои славные измятые детскими пальцами книжки, каким-то чудом сохранившие себя под грузом вековых премудростей. Тут тебе и остроумная собачка Пиф, и пес Мартын, и тетя Агата, и братья Гримм, и дети подземелья, и всякие народные, какой бурный микс, и вот уже змеятся дорожки между завалами, помню, какой путь преодолела «анатомия для художников» (пудовая) — в Израиль и обратно, и вот, лежит, так и не изученная, неизбытая.

Начнешь смахивать пыль, рушится полка, отлетает дверца от шкафа, сам шкаф кренится и грозит обвалом, как бы всем своим видом намекая на бренность всего сущего.

Здесь главное — вовремя уворачиваться. Вариантов несколько. Смахивать, двигать и крушить дальше, либо, захватив портмоне и собачку, бежать к западной границе.

* * *

Тетя Ляля читала мне на ночь «тетя тетя кошка, выгляни в окошко».

¹ *Марор (иврит)* — горько, горькое.

А еще она с готовностью выслушивала опусы про мальчика Ваню из глухой сибирской деревушки. Папа называл это тысяча первой рассказкой, а я немного обижалась, но ненадолго, потому что в запасе у меня была тетя, которая не скупилась на похвалу, с готовностью грустила или захлебывалась особенным, «тети-Лялиным» смехом.

Отчего эти восторженные городские девочки так любят быт русской деревни — всю эту развесистую клюкву, почерпнутую из русских народных же сказок, и протяжной, как стон бурлака, прозы исконных певцов русского быта, все эти «онучи», «озимые» и «рассупонив».

«Эх, прокачу» появилось чуть позже, вместе с кокетливой антилопой Гну и «радикальным черным цветом» волос незадачливого миллиардера.

Фраза «Эх, жили люди» прочно ассоциируется с разнузданным гулянием, растратой казенных средств и унылым мешочком зада растратчика.

Мальчика Ваню я любила. Я ваяла его с усердием, не забываясь о том, чтобы быть пойманной на откровенном плагиате.

Поблизости дышала чеховская степь, и бледные герои Достоевского оживали под моим неутомимым пером. Мучительная ипохондрия сменялась нервической взвинченностью.

Алеша Пешков запрокидывал мечтательное скуластое лицо, — уж будьте уверены, его университеты стали и моими... Я перечитывала их жадно — сочувствуя, очаровываясь, переживая все стадии познания и взросления юного мужчины.

А граф Толстой! А нежный Аксаков!

А Гарин-Михайловский! Кто не читал «Детства Тёмы», тот не читал ничего.

Так что о мальчиках я знала значительно шире и глубже, нежели о девочках. Подробнее. Масштабней.

И потому, не без оснований, частенько рассуждала и поступала как мальчик.

Ведь, чтобы писать о мальчике или от его лица, нужно немножко им стать.

Ведь девочкой я успею всегда! Не говоря уже о тетеньке и старушке.

Примерно так рассуждала я, склонив голову над общей тетрадкой в линейку, заведенной исключительно для творческих опытов, «однажды Ваня запряг...»

* * *

Когда-то, в незапамятные времена, почтовый ящик, мимо которого сегодня прохожу не оборачиваясь, трещал по швам.

Веселые картинки, мурзилка, пионер, юный натуралист, литературка, наука и жизнь, огонек, — в детстве мне часто снились пахнущие типографской краской склеенные листы.

Как весело было тащить разноцветную охапку, предвкушая новизну ощущений.

Полноводный ручей иссяк внезапно. Желтая пресса, приклатненный говорок, уголовный оскал вытеснили строгость, стройность, занимательность, значительность печатного слова. В лучшем случае, в почтовом ящике оказывался одинокий бланк-уведомление о внезапной бандероли. Либо же ворох коммунальных счетов.

Журнальные стопки редели постепенно, а потом и вовсе исчезли. Дольше всех продержалась, кажется, Литературная Армения. Именно с нее начался мой первый Мандельштам. Моя первая Цветаева. Мой первый Матевосян. Кочар, Минас, Жансем. Я читала и впитывала жадно, взахлеб. Пожалуй, и чтением назвать это было сложно. Так голодные набрасываются на еду. А голодна я была всегда.

Я набивала себя всем подряд. Неважно. Продиралась сквозь втростепенное, незначительное, с одержимостью выискивая золотые крупички смыслов.

Сегодня все иначе. Текст расцветает под пальцами, либо же меркнет — балансируя между изысканным наслаждением и непостижимой скукой. Собственно, настоящие тексты не нуж-

даются в чтении. Они читают себя сами, живут вполне самодостаточной жизнью.

Иногда мне хочется оказаться там, в тени тутового дерева. У него нет точного места на карте, места постоянной прописки. Оно, это дерево, растёт, где ему заблагорассудится. Но всегда найдется тот, кто укажет дорогу к нему.

* * *

Мой папа учился в Москве и Киеве, рос в Ашхабаде (тем не менее, в его доме говорили по-армянски и по-русски), моя мама родилась и выросла на Подоле, это такой отдельный, знаете ли, Киев, со своим характером, своей индивидуальностью — да, на улицах моего Киева иногда встречались бандуристы, старушки на лавочках общались чаще на суржике, и в палисадник можно было пройти либо «тудой», либо, как вы понимаете, «сюдой».

Но книжки я читала на русском, телевизор с мультиками — на русском (реже на украинском), диафильмы — тоже на русском, почему-то приходится в этом оправдываться, что не пришло бы в голову ни одному французу, испанцу, немцу, итальянцу. Человек впитывает язык, на котором растёт, живет, влюбляется, ненавидит, плачет, смеется.

Да, язык, на котором человек живет, растёт, мыслит, может меняться. В зависимости от обстоятельств. Вы можете обраться новыми привычками и привязанностями, вы можете осваивать новые языковые территории (как отдельные и прекрасные миры), но... некуда бежать (да и незачем) от тривиального «придет серенький волчок и укусит за бочок».

Да, под это примерно я засыпала в детстве. Если отсчитать на два поколения назад, то языком колыбельной в моем случае был бы идиш (с одной стороны) и армянский (с другой). Но так случилось, что пересеклись эти потоки один из Польши (а до того — Германии, а до нее — все что угодно, не исключено, что это вполне могла быть и обожаемая Испания), второй — из Армении (а до нее — Ирана, а до него — бог знает что еще, — Месопотамия, Тигр и Евфрат, ну и все, что способно предложить воображение).

Пересеклись они в силу разного рода обстоятельств, не всегда правильных и оправданных с исторической точки зрения. Но история — это такая штука, с ней договариваться бессмысленно, и заигрывать тоже.

Мой прадед с армянской стороны — Саак — вряд ли говорил на языке Пушкина и Достоевского, мой дед Хуршуд (персидское имя, означает «сияющее солнце», армянским детям иногда давали персидские имена. почему, это тема для другого повествования) — жаль, не довелось нам встретиться в этой жизни, вот эта приподнятая бровь от него, да и много чего от него, подозреваю, — так вот, наверняка уже владел великим и могучим — он, знаете ли, служил в царской армии, и в этом качестве совершенно случайно оказался в славном городе Киеве, в оперном театре, в день убийства Столыпина. Мой дед был неунывающим, ярким, великодушным, предприимчивым (да, его семья никогда не испытывала крайней нужды, пока он был жив). Из Киева он привез странное слово «борсч» и впечатление о прекрасных киевлянках. Посадили деда незадолго до кончины рябого сатрапа, и, выйдя на свободу, он жил уже недолго. А через некоторое количество лет у его сына родилась я, по странному стечению обстоятельств, именно в Киеве, — мой папа выбрал этот город для аспирантуры, видимо, впечатлившись в свое время воспоминаниями отца.

В доме моей тети, у бабушки Ривы и деда Иосифа, говорили на идиш (между собой и с соседями), и я улавливала разные забавные и острые словечки, но «Приключения Гекльберри Финна и Тома Сойера», «Короля Матиуша первого» и «Мертвые души» я читала на русском, и ни на каком другом. Детские рассказы Шолом-Алейхема тоже.

И первые буквы алфавита были русскими. Азбуку с кармашками помните? Кто же знал, что это неправильно, что это такая ошибка историческая, что мы, собственно, говорящие (думающие, пишущие) на этом языке — сами результат этой ужасной ошибки.

Не знаю, на каком языке плакала и причитала моя еврейская бабушка, отстав от поезда с эвакуированными на Северный Кавказ (с годовалым ребенком на руках) — она как раз русским

владела так себе. Не знаю, какую колыбельную слышала моя мама, — это был идиш или смесь разных словечек, птичье воркование, понятное каждой матери и младенцу.

Мой двоюродный дед Иосиф молился каждую субботу (родной, тоже Иосиф, погиб в 44-м).

Открытая перед ним книга, исписанная мелкими таинственными знаками, немножко пугала меня. Стараясь не шуметь, на цыпочках я проходила мимо, будто опасаясь спугнуть таинство (в том, что это именно таинство, у меня не было сомнений). Там (в этой книге) явно не было «серенького волчка», Иванушки-дурачка и Ивасика Телесика (украинский аналог Иванушки).

Боль и смятение другого мира (чуть позже я подойду к нему вплотную), стройная система правил, законов и исключений из них, — там, за прикрытыми веками деда.

Язык для меня — не только система оповещения, способ выражения, но и своего рода культурный код, и мост от одного мира к другому. Только перейдя этот мост ты в состоянии понять, что плачут и радуются люди на разных языках, но об одном и том же. И прочитанный от корки до корки Шолом-Алейхем (на русском) стал для меня новым событием в театре Франка в 2009 году (на украинском).

Письма Бруно Шульца к Гомбровичу впервые я прочла на украинском, на том языке, на котором они были изданы. Двухтомник Микола Хвылевого проштудировала от корки до корки в девятом классе. Его имени, кстати, не знала преподавательница украинского Евлампия Федоровна.

Я наслаждаюсь — более того, утопаю, растворяюсь — в чистоте и архаике армянской речи, в плавности итальянской, в изяществе французской, в энергии и стройности испанской. Я понимаю шутки на иврите, и на иврите я могу поддержать беседу, смеяться и плакать.

И да, какое все-таки, счастье — мне доступен еще один способ взаимодействия с миром. Без слов. Обитателям Эдема поня-

тен язык света и тени, язык линии и штриха. Он не нуждается в легитимизации, переводе, его сложно запрещать и ненавидеть.

* * *

Не место на карте, не среда обитания, и не корзина потребления. Не выветривается даже у тех, кто тысячу лет провел в краях благополучных и свободных от. Вы можете владеть языками, навыками, привычками, а он все равно жив. Жив и будет жить. Комплекс советской продавщицы, стоящей у прилавка с брюзгливо поджатыми губами. И рулоны серой оберточной бумаги, на которой несмываемые пятна любительского жира. Тетка с шиньоном на голове вездесуща. Секретарь райкома и бывший комсорг живы по сей день. Даже если живут они на Майорке или в Бруклине.

* * *

— Все, — говорит, — понимаю, но это, извини. Этого принять не могу. Ведь пошлость на пошлости, ни одной внятной мысли или там аллегии, герои — пошлые, жизнь — невнятная, пустая, бесцельная, — ну объясни мне, дуре, за что ты его так любишь?

Моя хорошая знакомая, взаимопонимание полное, чувство юмора на месте, — она принимает мою безалаберность, несообразность, отдельность, — оправдывает то, от чего другие бы давно отвернулись.

Один маленький нюанс. Довлатов.

Мое открытие. Моя свежая, только что обретенная любовь. Мое спасение в бестолковые репатриантские будни, — мой, если хотите, стержень и смысл.

Только что куплены три тома. Не за горами четвертый (но это произойдет много позже, и этот, четвертый, станет особенно любимым и перечитываемым). С восторгом, обожанием и клочкотанием в горле цитирую.

М. морщится. Она женщина широких (хотя и умеренно-религиозных) взглядов. Шляпка на белокурых локонах. Не так давно, в прошлой жизни, М. была ярко выраженной брюнеткой, полной жизни, огня, убеждений, отваги и безудержной любви к Армении.

— Поверишь — Армения случилась раньше Израиля. Я приняла ее как первую родину, созвучную моей душе. Аствац. Цаватанем. Майрик. Джур. Шноракалютюн. Баревдзес. Что ты знаешь, я была молода, гораздо моложе, чем ты сейчас, — она приоткрывает миндалевидный глаз и раскачивается, погружаясь в воспоминания.

Двадцать пять лет на Земле обетованной притушили огонь, поубавили отваги, стерли краски, однако прибавили благоразумия, осторожности.

— Столько пройдено, в конце концов, — алия 70-х, что ты знаешь о настоящей алии, детка, не было ни тебе русских газет, ни русских маколетов (продуктовых лавок), ни книг — требовалось всего лишь родиться заново, сжечь все мосты, забыв обо всем, что было до. Мы ведь не за колбасой ехали, дорогая. У нас были идеалы. Слово «сионизм» для нас не пустой звук.

И все же Армения. Вначале была она.

Нет, до всего был Мандельштам. Запретные, полузапретные листочки, стертые буковки на дрянной бумаге. Откровение. Причастие. Смысл.

Закрыв глаза, она цитирует. К слову, память у нее куда лучше моей. Это середина девяностых. Нет Гугла или Яндексса, которые всегда в помощь. Таинственные узелки памяти пока не атрофированы переизбытком информации и услужливой подсказкой умных систем.

— Меня и принимали за армянку. Ты не смотри. Я была смуглой, юной, гибкой, с горящими глазами. Как они все смотрели на меня. Армен, Сурен, Вачик, Ваагн. Ты армянка, джана? Я и была тогда армянкой. Это была моя история. Моя гордость. Мой дух. Моя жизнь. Израиль еще был невнятен, недостижим, призрачное облачко на горизонте. А потом я вернулась в Киев. Уже объятая тоской, — по звуку, цвету, жару, любви. Это была такая вселенская любовь, захватывающая, безудержная. Она мне снилась, Армения. Глаза снились, лица, голоса. Линии. Краски. Воздух, раскаленный, тронь, обожжешься. Мне снилась другая жизнь, полная глубокого смысла. И тут я вспомнила. Не то чтобы вспомнила. Просто совпало все. Благодаря Армении я почувствовала себя тем, кто я есть. Я получила свое еврейство, точно скрижали на горе Синай, из рук армян. Хотя они не подозревали об этом. Вот так это происходит. Ты получаешь этот

дар. Обретаешь. Благодаря первой любви ты обретаешь новую. Я стала еврейкой благодаря армянам. Я поняла, как можно любить себя, свое, гордиться тем, кто ты есть.

А потом все совпало. Сион. Голос Израиля. Радио Рэка. Те самые люди, те самые книги. Отец так и не простил меня. И я не простила себя. Хотя и сегодня не могла бы поступить иначе. Мой дух рвался из душного Киева семидесятых. Мы больше не увиделись с папой. Никогда.

Она поправляет шляпку и кажется мне ужасно пожилой, надломленной, — воплощение мечты оказалось совсем не таким уж радужным делом.

Жизнь прожита, дети выросли. Квартира (от пола до потолка — полки с русскими книгами, репродукциями, — кстати, первого моего Минаса Аветисяна я увидела у нее дома, — черно-белое издание, пошатнувшее основы мироздания, хотя черно-белый Минас — это нонсенс, ошибка). Квартира одна, другая. Банки, ссуды. Шук в канун шабата. Полные тележки с провизией.

— Господи, когда-то мы были голодны и счастливы. Просто так.

Она вертит в руках книгу, листает, пытается постичь.

— Может, я чего-то не понимаю. Ведь я так люблю армян. Аветика Исаакяна наизусть, — даже ты не знаешь, а я знаю. Паруйра Севака с закрытыми глазами. Но это... Он точно армянин? Наполовину? Ты уверена? Боже, какие-то алкаши, ничего не понимаю.

Вздыхая, возвращает томик на полку, к собратьям. Я пристыженно молчу. Мне нечем крыть, нечем парировать. Есть вещи, которые сложно объяснить даже единомышленникам. Даже лучшим друзьям. Родителям, детям, возлюбленным. И дело не в чувстве юмора пресловутом, а в очень важной грани. Отделяющей, отдаляющей нас друг от друга. Все дальше и дальше. Практически навсегда.

И грань эта — Довлатов.

«Из жизненных сумерек выделяются какие-то тривиальные факторы. Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки. А потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни хрена не видно. Мы осушали реки и сдвигали

горы, а теперь ясно, что горы надо вернуть обратно, и реки — тоже. Но я забыл, куда. Мне отомстят все тургеневские пейзажи, которые я игнорировал в юности».

* * *

Любите ли вы книжный, как люблю его я?

Тишина, прохлада, стерильность. У кассы мирно дремлет тетенька. При виде посетителя делает «библиотечное» лицо.

Я совершаю круг почета, треплю по загравкам знакомые корешки.

— Вам что-то подсказать? Посоветовать? — почти обреченно выдыхает «библиотекарша».

Что тут посоветуешь, — снисходительно думается мне, — какие уж тут могут быть советы.

Листаю одну, другую, третью.

Вспоминается собственный охотничий азарт. Когда шла за книжкой по следу, когда последнюю мятую бумажку, стиснутую в горсти...

Да что там! Бывали времена. Счастливые. Под настоящую книжку нужно было рыть подкоп. Расплачиваться самым святым.

А сейчас что? Скучно. Вместо бойкого мужичка с подпольным Борхесом — спящая музейная тетенька.

Стоит новый Горенштейн в пяти томах. Тома запечатаны, туго затянуты пленкой. Интересно, кто-нибудь, хотя бы из любопытства, вскроет хотя бы один том? «Псалом»? Или «Искушение»?

В детстве у меня была книга Андерсена. Разваливающаяся, трухлявенькая, едва душа в теле...

Зато любимая. Ох, истаскала же я ее. В хвост и в гриву. И ела с ней, и спала.

А вот новенький подаренный на день рождения двухтомник так и не полюбила. Рука тянулась к привычной, с трогательными и наивными иллюстрациями...

Он и сейчас рядом. Старый-престарый Андерсен. И Горенштейн. И Борхес, куда же без Борхеса. В любом приличном доме должен быть Борхес...

Тетенька провожает меня взглядом.

И чего ходят, — думается ей, — чего ходят, высматривают, вынюхивают.

Настоящий покупатель — он либо душевнобольной, либо скучающая дама.

Иногда у полок трутся настоящие писатели. Но эти редко покупают. Глаз у писателя сытый, желчный, потухший. Пальцем тычет презрливо — а это что? Это разве книги? Это почему?

А еще бывают такие... жизнелюбы. Нервные живчики. Книжки кушают, будто морковку. Весело похрустывают, заглатывают, добавки просят. Уходящая натура, последнее поколение. Мандельштама читают нараспев, с закрытыми глазами. Городские сумасшедшие.

Этих тетеньки за квартал чуют. За городским сумасшедшим обычно плетется преданная девушка не первой и, увы, не второй свежести. Она тоже книгоман. Нешуточная страсть таится в уголках губ, в близоруких глазах. Точно сомнамбула, движется девушка по следам жизнелюба. Иногда их взгляды пересекаются, — ты видел? ты это видела?

Дрожащие руки выуживают искомое — выносят на свет божий.

Ты это видела? — о... стонет преданная девушка, прислонясь грудью к острому плечу библиофила.

Спящая тетенька приоткрывает сонный глаз. Тут главное — не спугнуть.

— Последняя, — небрежно замечает она как бы в сторону.

— Последняя, — точно эхо срывается с уст подруги библиофила — и тонкие пальцы с треском разрывают подкладку, нащупывая ту самую смятую бумажку.

* * *

Некоторые книги геометрически, — я бы сказала, хирургически или гомеопатически точно — встраиваются в хронологию жизни. Не будь их, она (эта самая жизнь) могла бы сложиться иначе, однозначно.

Возьмем «Трех товарищей» Ремарка. И, вообще, Ремарка.

Иначе о чем тогда было многозначительно переглядываться в мои восемнадцать? Исключительно о «необычайно прекрасной погоде», — не так ли, господа? Первой влюбленности как нельзя более соответствует ремарковская интонация, — только вооружившись Ремарком, можно войти в восемнадцатую осень жизни...

К двадцатой зачитанные страницы уходят на полку, и только изредка напоминают о себе укоризненным шорохом и вздохом. Нет, будут еще возвращения, не менее страстные, исполненные романтической грусти и отчаянья. Но, перечитанная не единожды, книга возвращает к уже пережитому. Жажда (забвения и, собственно, самой жизни), преподносит сюрпризы.

Пусть это будет Бёлль.

Где ты был, Адам? Бильярд в половине десятого. Глазами клоуна. Стоп. О настоящих потерях языком Бёлля. Не Ремарка. Все совпадает. Книга ложится в руку (иногда абсолютно случайно), и тут же — подтверждение. Юношеский романтизм уступает место чему-то настоящему (не то чтобы предыдущее было ненастоящим, напротив, — но настоящесть Бёлля иная.

Так соло на трубе уступает место убедительности и мощи органа.

После Бёлля — долгий провал. Есть период, в котором не помню ни одной книги. Откуда-то выныривает «Игра в классики», закладка в пухлом томе Цвейга, вновь перечитана купринская «Яма». Уже важно цитируется Борхес. И все-таки Маркес. Пожалуй, он.

Если бы не Маркес (и вся латиноамериканская проза впридачу), не появился бы на свет мой сын.

Любовь во время холеры (чумы и прочих напастей) и по сей день со мной. В каком-то наивысшем смысле мы никогда не изменяем нашим любимым книгам. Ремарк, Бёлль, Маркес, Кортасар.

Кундера. Конечно же, он. Уже там, в другой жизни, на другой планете, — в очередной раз оказавшись на распутье, — пусть это будет летний день, жара, побережье — небольшой филиал «Стемацки» (сеть книжных магазинов в Израиле), спасительная прохлада, шелест книжных листов, — хватаешь (на ощупь, на запах) — вот эту самую. Там все о тебе. О тебе сегодняшней. О невыносимой этой легкости и тяжести, — о том, что невозможно ни с кем разделить, проговорить, осознать.

Итак, Кундера, прочитанный залпом, со смешанным чувством стыда и изумления (там кто-то подсмотрел твою жизнь, не то чтобы буквально, но некие интимные моменты, и перенес их сюда, выложив на всеобщее обозрение). Листаешь под подушкой, пылая, отмечая рассыпанные по страницам жемчужины.

И, почти параллельно, Аксенов, Довлатов. Новый сладостный стиль. Индугенция на проживание собственной жизни, которая развивается исключительно по джазовым законам. Синкопа сменяет главную тему, ритм важнее мелодии, — меня несет, разрывает, тащит, — обретения сменяют потери, открытиям нет числа, — и тут...

Из-за кулис, откашливаясь, выходит Исаак Башевис-Зингер.

Давно прочитаны и оплаканы «Шоша», «Мешуга», «Раб». «Люблинский шукарь». Они и сейчас со мной. Книги, которые поддерживали, насыщали, вселяли, сопровождали в принятии судьбоносных решений.

«Он прочитал “Шма” и перешел к Восемнадцати Славословиям. Дойдя до “воистину благословен Ты, возвращающий души мертвым телам”, Яша умолк, вникая в смысл. Ну да, Господь, которому нипочем сотворить снежинки, образовать человека из капли семени, двигать Солнце, Луну, кометы, планеты и созвездия, способен воскресить и мертвых. Только неразумные с этим не согласны. Господь всемогущ. От поколения к поколению его могущество все очевидней. То, что когда-то считалось Всевышнему не по руке, сейчас в человеческих силах. Безбожие во все времена полагало, что человек разумен, а Бог — нет; что человек хорош, а Бог — плох; что человек жив, а Создатель — мертв... Однако стоило отрешиться от нечестивых этих мыслей, и отворялись врата истины. Яша раскачивался, ударял себя в грудь, кланялся. Открыв глаза, он увидел в окошке Эстер. Глаза ее улыбались. В руках она держала горшок с едой, от которого шел пар. Поскольку Яша уже отстоял Восемнадцать Славословий, он кивнул и поздоровался. Недавнее отчаяние исчезло, и Яшу снова переполняла любовь. Как видно, Эстер угадала это. Такое чувствуется. Люди, если хотят видеть, видят все...»

ПЕРЕВОДЫ



Билли Коллинз

ВОЗВРАЩЕНИЕ КЛЮЧА

МНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

При одной мысли об этом
я чувствую себя больным,
и это похуже, чем боль в животе,
или когда голова болит от чтения в полутьме —
это какая-то душевная корь,
скарлатина духа,
пятнающая психику ветрянки.

Вы говорите, что еще рано оглядываться,
но это оттого, что вы позабыли
изумительную простоту годовалого,
красочное многообразие мира двухлетки.
Я могу зажмуриться и вспомнить любой возраст в первом десятке.
В четыре я был арабским кудесником,
становился невидимым,
выпив особым образом стакан молока.
В семь я был солдатом, в девять — принцем.

А теперь я подолгу сижу у окна,
наблюдая послеполуденный свет.
Раньше он никогда не падал так мрачно
на крышу моего домика на дереве,
и мой велосипед никогда не был прислонен к гаражу,
так, как сегодня,
как будто из него выжали всю его темно-синюю скорость.

Можно начинать тосковать, говорю я себе,
пробираясь в кроссовках через вселенную.
Время прощаться с воображаемыми друзьями,
пора, это твой первый юбилей.

Кажется, еще вчера я верил,
что у меня под кожей только свет,
что, если порежусь, он брызнет из меня.
А теперь, случись мне споткнуться на обочине жизни,
я обдеру колени, и пойдет кровь.

КАНАДСКИЕ ЖУРАВЛИ В НЕБРАСКЕ

Как жаль, что ты не был здесь полгода назад,
сетуют в Небраске, где я проездом,
ты застал бы изумительное зрелище —
тысячи и тысячи канадских журавлей
кормятся и танцуют на берегах реки Платт.

И бесполезно было бы объяснять,
что я не мог оказаться там в это время,
потому что я был совсем в другом месте,
и я киваю, натягивая маску легкого сожаления,
в надежде изобразить сопереживание.

Такое же выражение лица было у меня, помнится,
еще за шесть месяцев до того, в Джорджии,
где мне сказали: ты пропустил
ежегодную феерию цветения азалий,
восхитительную на фоне весенней зелени,

так же получилось за полгода до этого в Вермонте,
куда я приехал, когда уже почти завершился
осенний сезон с его непревзойденными красками —
Мать-Природа, как ее принято называть,
тронула холмы своей многоцветной палитрой —

это происходит, как и все подобные явления,
каждый год, примерно в одно и то же время,
когда я нахожусь в другом штате, в вестибюле мотеля,
с газетой и пластиковым стаканчиком кофе в руках,
деловито пропуская Бог знает что еще.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КЛЮЧА

Было дремотно после полудня,
жаркий ветер ворошил в комнате бумаги,
дымок относил от моей сигареты,
как от мини-фабрики, которая только и производит, что дым.

Я читал Уильяма Карлоса Уильямса,
Все еще расстроенный запиской на кухонном столе
и осколками стекла возле гаража,
так я забрел в одно из его коротких стихотворений

и взял оттуда ключик
со стеклянного подноса
в комнате гостиницы, где кто-то
стоял в двери с чемоданом в руках.

Зная, что бог любит троицу,
я не огорчился, когда ключ
не отомкнул золотой замочек
на дневнике моей дочери

и не открыл пустой сейф под кроватью,
я понял, что решение близко,
когда вышел в оранжерею,
и остановился перед птичьей клеткой.

Стоило ли удивляться,
что птица выпорхнула
и облетела вокруг люстры,
едва дверца клетки распахнулась.

Еще менее удивило то,
что она сделала крутой вираж
на фоне окна, затем нырнула,
клювом подхватив ключик, и скрылась

в лежащей на столе,
антологии американской поэзии,
открытые страницы которой
трепетали на ветерке, как крылья.

ШЛЯПА — ПОДСВЕЧНИК

На автопортретах обычно акцентировано лицо:
Сезанн — это глаза, плавающие в море мазков,
Ван Гог вперяется в нас из жерла крутящейся тьмы,
Рембрандт смотрит с облегчением, будто отдыхая
от работы над жутким «Ослеплением Самсона».

Но на этом Гойя стоит далеко от зеркала,
мы видим его в беспорядке мастерской,
обращенным к полотну на высоком мольберте,
кажется, он слегка улыбается нам, предвкушая
наше веселое восхищение его необычной шляпой,
по краям которой укреплены подсвечники,
эта шляпа позволяет ему работать ночами.

Можно только догадываться, каково было
носить на голове этакий светильник,
как будто ты ходячая люстра в гостиной или в концертном зале.
Но стоит только увидеть эту шляпу, и уже не нужно
читать биографию Гойи, знать даты его жизни.

Чтобы понять Гойю, надо просто представить его,
зажигающего свечи одну за другой,
надевающего шляпу, готовясь работать всю ночь,
представить, как он удивляет жену своей выдумкой,
их праздничный смех, блики на ее лице.

Представить его мелькающим в темных комнатах,
среди мечущихся по стенам теней.
Представить, как стучится в дверь путник,
заблудившийся среди ночных холмов Испании.
«Входите, я как раз рисую себя», —
скажет он, освещенный сиянием знаменитой шляпы,
стоя в дверях и дирижируя кистью.

ЗАУЧИВАЯ «ВОСХОД СОЛНЦА» ДЖОННА ДОННА

Всем читателям нравится,
как он отчехвостил солнце, прокричав ему — старый дурак —
в английское небо, которое,
скорее всего, было в тучах в то утро семнадцатого века.

Зато теперь какое удовольствие провести солнечный день,
расхаживая по ковру и повторяя слова,
сознавать, как слоги встраиваются в ряды,
так вжиться в них, что, остановясь, я могу провозгласить,
держа книгу под мышкой:
часы, дни и месяцы всего лишь ошметки времени.

Но, сделав два шага вдоль второй строфы,
туда, где солнце ослепло под взглядом возлюбленной,
я чувствую, как первая строфа ускользает,
расплываясь буквами облаков по небу на ветру.

А когда приходит черед третьей,
то вторая, в свою очередь, исчезает,
как колеблющаяся струйка едкого дымка
от задутой свечи.

Стихотворение проявит интерес
к моей прогулке
не раньше, чем я, выйдя из дому,
обойду три раза вокруг заросшего пруда.

И наконец, после такого моего кружения,
возникает нечто лучшее, чем нежные права
ее — быть всеми странами, его — всеми принцами,

лучшее, чем способность любви замкнуть
весь мир в спальне возлюбленных,
лучшее даже, чем соединение
всего этого в замкнутом пространстве трех строф,
то, как, после многих часов восхождений и спусков
по лестнице стихов, после испытания каждой ступеньки-строки,
эти стихи теперь всюду со мной,
сосредоточенные в крошечном, но надежном месте.

1960

В старом анекдоте
консультант по вопросам брака
советует супругам, которые давно перестали разговаривать,
пойти в джаз-клуб, потому что в джаз-клубе,
когда солирует контрабас, все разговаривают.

Конечно, никто не начинает болтать
просто потому, что солирует контрабас,
или вообще, когда кто-то солирует.

Зато негромкое соло контрабаса
обнаруживает в клубе тех,
кто и так давно уже болтает,
тех, кого теперь можно услышать
на какой-нибудь известной записи.

Ну, скажем, Билл Эванс
вытворяет что-то невозможное на фортепьяно,
а в это время какой-то парень
болтает с девушкой за столиком в углу.

Я слушал этот альбом
столько раз, что уже предвкушаю
его пьяный смех,
словно это особая нота в композиции.

Вот так, незнакомец,
ты стал частью моих прослушиваний,
а твое оставшееся в прошлом свидание

невольно напоминает о том,
что все участники этого трио уже умерли,
и, может стать, ты — тоже, и она, как это ни печально.

КОМНАТЫ

После трех дней упорного безутешного дождя
я прохожу по всем комнатам в доме,
прикидывая, в какой было бы сподручнее умереть.

Кабинет — вполне очевидный выбор,
здесь толстый ковер, спокойные обои,
мягкое кресло явно предпочтительнее
лестницы, с которой можно скатиться в подвал.

У кухни есть свои преимущества —
похоже, он кипятил воду для чая, —
скажет следователь, поднимая расплавленный чайник.

Есть еще столовая, где можно
просто упасть лицом вниз на незаконченное письмо,
сидя в торце длинного обеденного стола;

или спальня, с ее смесью секса и сна,
откинешься на спинку кровати,
оброненная книга сползет на пол,
пусть это будет *Мисс Дэллоуэй*, которую я собираюсь читать.

Мертвый на ковре, мертвый на кафеле,
мертвый на холодном каменном полу —
это начинает походить на балладу,
которую поет в пабе разогретый выпивкой мужичок.

Во всем виноват дождь со снегом,
бьющийся в окна,
но когда он все-таки кончится,
уступая разрывам в тучах и теплему ветру,
когда деревья начнут стряхивать светящиеся капли,

я покину эти темные, угловатые комнаты,
вырулю по проселочной дороге
на просторы четырех сторон света,
такие огромные и пестрые, полные чернил и печали, —

дорога пересечет оголенные уже леса,
спутанный подлесок, усталый желтым и красным,
в эти горьковато-сладкие последние дни ноября.

И, может быть, где-то на обочине под листьями
притаилось гнездо полевок,
каждая не больше пальца,
пальца с закрытыми глазами,
с усиками и хвостом,
каждая в предвкушении лакомой травы
и ошеломляющей краткости бытия.

НЕТ ВРЕМЕНИ

Сегодня утром, проезжая в спешке
мимо кладбища, где под гладкой гранитной плитой
мои родители лежат бок о бок,
я нажал на газ и на гудок одновременно.

После, я целый день думал о том, как он приподнимается,
чтобы посмотреть на меня
пристально и неодобрительно,
а мать тихо уговаривает его успокоиться и лечь.

ЛИТАНИЯ

*Ты хлеб и хлебный нож,
хрустальный кубок и вино.*

Jacques Crickillon

Ты хлеб и хлебный нож,
хрустальный кубок и вино,
ты роса на утренней траве,
и жгучий солнечный диск.
Ты белый фартук пекаря
и внезапно взлетевшие над болотом птицы.

И все же ты не ветер в саду,
не сливы на подоконнике,
не карточный домик.
И уж точно ты не сосновый смолистый воздух.
Не можешь ты быть сосновым смолистым воздухом.

Возможно ты рыба под мостом,
может быть даже ты голубь на голове генерала,
но ты и близко не напоминаешь
поле васильков в сумерках.

Беглый взгляд в зеркало покажет,
что ты не сапоги в углу
и не лодка, уснувшая под навесом.

Если тебе интересно,
если уж речь о многообразии всего сущего,
знай, что я дробь дождя по крыше.

Еще я, оказывается, падающая звезда,
вечерняя газета, кружащаяся в переулке,
и корзина каштанов на кухонном столе.

А еще я луна в кронах,
и стаканчик в руках слепой старухи.
Но не беспокойся, я не хлеб и не нож.
Ты по-прежнему хлеб и нож.
Ты всегда будешь хлебом и ножом,
и, уж конечно, хрустальным кубком — и да —
вином.

Перевод с английского Марины Эскиной

Вислава Шимборская

РАЗГОВОР С КАМНЕМ

КОШКА В ПУСТОМ ДОМЕ

Взял и умер — а кошка?
Разве можно такое?
Что в пустом доме делать —
лишь о стены чесаться
да мебель царапать.
Ничего не меняют,
но в чем-то подмена:
все стоит, как и раньше,
только стало просторней
и в сумерках свет не включают.

На ступеньках шаги,
но не те, а другие,
и кладет рыбу в миску
та рука, что не клала.

Что-то остановилось
и не хочет вернуться.
А другое идет
вовсе не так как надо.
Кто-то был здесь всегда
и внезапно исчез —
его нету и нету.

Ни в шкафах, ни на полках —
все проверила трижды,
под ковром, под кроватью —
нет! Как нет и запрета
разбросать все бумаги...
Что ж теперь остается?
Только спать в ожиданье.

Пусть он только вернется,
только двери откроет,
как сразу узнает,
что с кошкой нельзя так:
кошка выйдет случайно —
мол, не больно и надо, —
не спеша и на самых обиженных лапах,
ни прыжков, ни мурлыканья
...поначалу.

МОНОЛОГ ДЛЯ КАССАНДРЫ

Это я, Кассандра.
А это мой город под пеплом.
А это мой посох и ленты пророчеств.
А это моя голова, полная сомнений.

Да, я торжествую.
Моя правота озарила все небо.
Только пророки, которым не верят,
видят такое.
Только те, кто неправильно взялся за дело,
И все свершилось стремительно,
как будто их не было вовсе.

Я отчетливо помню, как люди
при виде меня на полслове смолкали.
И смех обрывался.
Расплетались их руки.
Дети бежали к матери.
Я даже не знала их бранных имен.
И ту песенку о зеленом листке
При мне не допели.

Я их любила,
но с горних высот,
поверх жизни,
из будущего, где всегда пустота
и откуда так просто увидеть смерть.

Напрасно мой голос был строгим.
Взгляните со звезд на себя, я взывала,
взгляните со звезд!
Они слышали и опускали глаза.

Они жили в жизни.
Подхваченные вихрем,
Обреченные
от рождения на прощание с телами.
Однако в них влажная билась надежда —
зыбкий мерцающий светлячок.
они знали, что такое минута —
единственная, любая —
прежде чем
Вышло по-моему.
Но в этом нет смысла.
А это мои обгорелые тряпки.
А это весь мой гадательный мусор.
А это моё исковерканное лицо —
Лицо, не знавшее, что могло быть прекрасным.

РАЗГОВОР С КАМНЕМ

Я стучу в его дверь:
— Это я,пусти меня.
Хочу войти к тебе внутрь,
осмотреться,
вобрать тебя, словно воздух.

— Уходи, — отвечает камень, —
я плотно заперт.
Даже разбитые на куски,
мы остаемся закрытыми,
и стертые в песок,
мы никого не впустим.

Я стучу в его дверь:
— Это я,пусти меня.
Я здесь просто из любопытства,
только жизнью и можно его утолить.
Мне бы пройтись по твоему замку,
а потом проведать лист и каплю воды.
У меня, смертной, не много времени;
неужто это тебя не тронет?

— Я из камня, — говорит камень, —
и должен остаться невозмутимым.
Уходи.
Я не умею смеяться.

Я стучу в его дверь:
— Это я,пусти меня.
Говорят, у тебя внутри пустота,
никем, к сожалению, не виденная:
просторные залы без эха шагов.
Признайся: ты сам об этом знаешь.

— Просторные залы... — говорит камень, —
но в них нет места.
Они прекрасны, наверно,
но не в твоём убогом вкусе:
ты меня знаешь, но никогда не постигнешь.
Я к тебе весь повернут,
но что внутри, ты не видишь.

Я стучу в его дверь:
— Это я,пусти меня.
Я в тебе не ищу приют навсегда.
Я не нищая, не бездомная —
у меня есть свой мир,
он стоит того, чтоб вернуться.
Войду и выйду с пустыми руками,
а чтоб доказать, что я тут побывала,
ничего не представляю, кроме слов,
которым никто не поверит.

— Не войдешь, — говорит камень, —
у тебя нет чувства причастности,
его не заменят другие чувства.
Даже зоркость всезнания
бесполезна без чувства причастности.
У тебя лишь зыбкое представление
о нем; завязь, и то едва ли.

Я стучу в его дверь:
— Это я,пусти меня.
Не могу я ждать две тысячи веков,
чтобы войти под твой кров.

— Раз ты мне не веришь, — говорит камень, —
обратись к листу — он скажет то же, что я;
или к капле — она скажет то же, что лист.
Спроси хоть волосы у себя на голове...
Смех, мощный смех меня распирает,
которым я не умею смеяться.

Я стучу в его дверь:
— Это я,пусти меня.

— Нет у меня двери, — говорит камень.

КОНЕЦ И НАЧАЛО

После каждой войны
кто-то должен прибрать:
сам собою порядок
не водворится.

Кто-то должен развалины
счистить с дороги,
чтоб телеги проехали,
полные трупов.

Кто-то должен копаться
в слизи и пепле,
в диванных пружинах,
обломках стекла
и кровавых лохмотьях.

Кто-то должен бревном
подпереть эту стенку,
и окно застеклить,
и двери навесить.

Это не фотогенично
и требует годы.
А фотографии уже уехали
на другую войну.

Снова надо построить
мосты и вокзалы.
От закатанных рукавов
останутся клочья.

Кто-то с метлой в руках
вспоминает о прошлом.
Кто-то, слыша, кивает
уцелевшей головой.
Но уже рядом с ними
возникнут другие —
те, кому это все надоело.

Кто-то еще выкапывает
замшелые аргументы,
насквозь проржавевшие,
и сбрасывает их в мусор.

Те, кто знали,
в чем было дело,
сменяются теми,
кто знает мало.

И меньше чем мало.
И совсем ничего.

В траве, которой поросли
причины и следствия,
кто-то должен улечься
с травинкой во рту
и пялиться на облака.

НЕВИННОСТЬ

Зачатая на матрасе из человеческих волос,
Герда, Эрика или Маргарита
действительно ничего об этом не знает.
Такие сведения не подходят,
чтоб ими делиться или осмыслить.
Эринии слишком уж справедливы:
сегодня их птичья возня раздражала б.

Ирма, Бригита или Фредерика —
ей двадцать два или чуточку больше,
знает три языка (для поездок хватает).
Работает в фирме матрасов на экспорт,
прекрасных матрасов из чистой синтетики.
Экспорт сближает народы.

Беата, Ульрика или Хильдегарда —
худая, высокая, хоть не красotka,
но шея, лицо, грудь и бедра
В полном весеннем расцвете.

Радуетя, босая, на пляжах Европы,
распустив длинные — до колен — волосы.
Стричь не советую, сказал ей парикмахер,
второй раз никогда так пышно не вырастут,
уж вы мне поверьте:
это проверено
tausend — und tausendmal.

ОДЕЖДА

Снимаешь, снимаем, снимаете
 плащи, пиджаки, жакеты, блузки —
 из шерсти, из хлопка, из полистирола,
 юбки, брюки, носки, исподнее,
 кладя, вешая, перекидывая через
 подлокотники кресел и ширмы;
 пока что, говорит врач, ничего серьезного,
 можно одеться, отдохнуть, уехать,
 принимать, если надо, перед сном, после еды,
 прийти через три месяца, год, полтора года;
 вот видишь, а ты думал, а мы боялись,
 а вы допускали, а он подозревал;
 пора завязать, застегнуть еще дрожащими руками
 шнурки, кнопки, молнии, заклепки,
 пуговицы, воротники, галстуки, тесемки
 и вытаскивать из рукавов, сумок, кармана
 измятый — в горошек, в полоску, в клетку — шарфик
 с неожиданно продленным сроком годности.

НАТЮРМОРТ С ВОЗДУШНЫМ ШАРИКОМ

Вместо воспоминаний
 перед кончиной
 я хочу, чтоб вернулись
 пропавшие вещи.

В окна и двери — зонтики,
 плащ, саквояж, перчатки,
 чтоб я сказала:
 зачем мне всё это?

Булавки, ножик, расчески,
 тесемка, бумажная роза,
 чтоб я сказала:
 ничего мне не жалко.

Где бы ты, ключ, ни валялся,
главное — не опаздывай,
чтоб я сказала:
заржавел, голубчик.

Туча бумаг повиснет,
анкет, пропусков и расписок,
чтоб я сказала:
солнце заходит.

Часы, из реки выплывайте,
дайте мне взять вас в руку,
чтоб я сказала:
всё так же врите.

Найдется и шарик,
сорванный ветром,
чтоб я сказала:
Здесь детей нету.

Лети, окно ведь открыто,
лети по всему свету,
пусть кто-то воскликнет: — О!
Чтоб я заплакала.

НАДГРОБИЕ

Здесь лежит старомодная, как двоеточие,
автор нескольких поэтических строчек
на вечном покое, хотя ее труп
не входил ни в одну из писательских групп.
Сова на могиле, росток лопуха
и эти вот строчки смешного стиха.
Прохожий, достань свой компьютер заморский,
подумай на миг над судьбою Шимборской.

Перевод с польского Елены Катишонок

Сергей Жадан

НОВЫЙ АЛФАВИТ

* * *

Песни про время и смертный час —
Фраерский финт души,
Я знал поименно любого из вас,
Лузеры и алкаши.

Я слышал, как никотиновый хруст
Их голоса ломал,
Кто-нибудь вспомнит сегодня пусть
Тот временной провал,

Когда разливалась, как нефть, заря
И дворовой сквозняк,
Словно арабским платком дуря,
Флагом бил так и так.

Когда, непохожие на иных
Пеших, вы шли на зов,
Юные короли пивных,
Рюмочных и номеров.

И жизнь, бесконечная как кольцо,
Грустная как стихи,
Заглядывала проститутке в лицо,
Носила ее духи.

Вашим обидам потерян счет —
Столько в речах обид,
Время — лишь то, что зрачок сечет,
Быстрой слезой кропит.

Смерть — такой же торчок, как вы,
Грех ее так же стар,

Заячье сердце, глаза совы,
И что ни сон — кошмар.

Ты говоришь ей, сестра, давай,
Держись за меня, сестра,
Я-то уж помню всё — пускай
Я не дышал вчера.

Черный твой быт, предрассветный жар,
Мужественный бодун,
Я — чудом выживший коммунар
Твоих алкогольных коммун.

Я тот, кто тебя выносил не раз
Из тьмы коммунальных дыр,
Попробуй кому-нибудь сбить сейчас
Свой монопольный спирт,

Попробуй теперь собери в одно
Нашу веселую рать,
Да так, чтобы с неба лилась в окно
Горняя благодать!

Бей же в свой полковой барабан,
Жирных пугай ворон,
Пусть улетают в густой туман,
Твой промахнув кордон.

Пусть солнце сорвется, радость моя,
И упадет с высоты,
Сначала его поймаю я,
А после — поймаешь ты.

* * *

В августе плавятся воском кварталы,
Темной реки неподвижен раствор,
Вот беспризорники вышли с вокзала,
Яблоки рвать, словно звезды на спор.

Сладко потом им в ночлежках не спится,
Где-то проступит условный знак,
Если исследовать девичьи лица,
Взрослый раскуривая табак.

В их разговоре крепленом, вольном,
В детских сердцах, фаршированных злом,
Столько жестокости, нежности столько,
Сколько запахов за столом.

Может, однажды, твердея как гравий,
Время, что нынче меж ними стоит,
Из этих ломаных биографий
Новый выложит алфавит,

Может, исчезнувшие попарно
В вязком тумане у синих гор,
Выйдут они полководцами армий
Завтра, как только объявят сбор,

И злоба, которая их ковала,
Сядет влитая, как бронезилет,
Когда на карпатские перевалы
Двинутся и за балканский хребет,

И самые храбрые в этих отрядах,
Те, что в походах сурово молчат,
Будут вешать перед парадом
Шулеров, ведъм и цыганских волчат,

Еще разойдется да под катеринку
Вся рассупонь-дезертирская блажь,
Выйдет-пойдет по весеннему рынку
Хлеба купить и патронов в калаш.

И там уже время во тьме целебной
Вправит сломанный позвонок,
И птицы снова метнутся в небо,
И рыбы снова мелькнут у ног.

* * *

Жара, какой не бывало от века,
Солнце сохнет в листе тополиной,
В доме напротив была аптека,
Где они покупали бинты с анальгином.

Лежали прожаренные кварталы,
Словно рассыпанные монеты,
В помещении, что они снимали,
Нагревались к вечеру все предметы.

Финки, отмычки как елки-палки,
Одежда с запахом никотина,
Нагревались бензиновые зажигалки,
В которых давно уже нет бензина.

Веки ее синевой кружили,
Деревья за окнами бросали тени,
Нагревались порезы на ее сухожилиях,
Нагревались пули у него в теле.

И когда она трогала воздух рукою —
Нагревался воздух прозрачен, черен,
До утра тишина стояла такую,
Что было слышно, как снится море.

* * *

Черный рассвет арестантов на весь экран,
В плотном тумане увидят звезду немногие,
Вот юный торчок удивляется докторам,
Третьи сутки пыли в областной наркологии.

И покуда спят на матрасах братья-торчки,
Пока тишину простреливают пружины,
Пока сновидений маются маячки,
Он берет и поет, не придерживаясь режима.

Ходит луна между тучами, как овчар,
Утирает слезу наисуровейший санитар,
Заливаясь по горло чаем из местных трав,
Поминая на добром слове родной минздрав.

И он поет:

Людям жестоким одно — возвести стены-дуры,
Джа трудовой терапией не гнул мне шею,
Мудрости же не дает ни одна микстура,
Я всегда буду делать лишь то, что умею.
Никто за меня не скажет слово мое,
Никто за меня не потянет мою работу,
Пора на волю, вот-вот опадет жнивье,
И потому здесь сидеть, скажем так, без понту.

И когда я выйду, сбивая рассветные росы,
И когда я приду домой пахотными полями,
Старушка-мать отдаст мне мои папиросы,
А друзья прибьются полными кораблями.

И ночь незаметно пройдет, и тоска с нею,
И падут вавилонские стены, тюремные муры,
Торопясь на работу скошенною стернею,
Будут псалмы распевать радостные
Драпокуры.

Ночь отошла за мосты, горбы навесные,
Жалким товаром своим, казенным своим покрывалом,
И радость росла, словно грибы лесные
Над печальным торчком и растроганным
Медперсоналом.

И слово правды вздымало свое крыло,
И свое крыло вздымало слово любовное,
И солнце в небе снялось и на запад пошло,
И потянулись за ним зерновые с бобовыми...

* * *

Я вмиг столкнулся с проводником,
Верхняя полка, отлично спится,
И вечер диким врался чесноком
В золото молодой пшеницы.

Без сменной одежды и паспортов,
Вином заливая глаза бессонные,
Тянулись к вареву южных портов
Бродяги и работяги сезонные.

В их снах, как в озерах, качался свет,
Дымный от сумерек и спиртного,
И каждый свой находил привет
В доках Кейптауна и Порто-Ново.

И каждый неслышно снимал во сне
Кольца блестящие с женских мизинцев,
И покупал, не скупясь, на все
Кофе и овощи у абиссинцев.

И рвался сквозь ужасы всех препон,
Сквозь субтропический выдох шторма,
(Их брали в ночь, оцепив вагон,
И выбрасывали на платформу).

Сквозь толщу воды, что бессонно прет,
Сквозь лед и пламя морского риска
(Тянули всё, разбивая рот,
От ранней судимости до прописки)...

Тот, кто созвездья вверху лепил,
Про нас с тобой и не вспомнил даже,
И что нам осталось? Блуждать без сил
Между водою и лунным пляжем,

Маяться меж невозможных чудес
И выглядывать среди тумана
Нёбо ангинное нежных небес,
Стылые внутренности океана.

* * *

Один был мастером на сталелитейном,
Другой — на машиностроительном токарем,
Они встретились в конце недели
В спальном своем под потухшими окнами.

За их шагами тяжелыми, гулками,
За словом их коротким, жилистым,
Стояла улица со своими звуками,
Со всеми проблемами неразрешимыми.

И первый сказал — бастуем, товарищ,
Цеха распирает пчелиным зудом,
Паровозы готовы на усть-товарной,
Пахнут подсолнухом и мазутом.

Тот обретет, кому бой не страшен,
Я убежден, что развязка близко.
Независимые профсоюзы на стороне нашей, —
Ответил другой и ладонь его стиснул.

И старший держал наготове в памяти,
Кожанку распахнув потертую,
Две ходки — по сто девяносто пятой
И двести девяносто четвертой.

А младший в свои девятнадцать неполных
Первым бойцом в этом городе числился,
Он возвращался со смены полночью,
Откинувшись по президентской амнистии.

И младший достал пачку с последнею сигаркою,
И на руке его солнце, выбитое старательно,
А у старшего не было пальцев, отрезанных болгаркою —
Большого и указательного.

* * *

Каменщики с утра начинают работу,
Возводят стену звонкими мастерками,
Как будто важнее не знают заботы —
Свет от тьмы отделять собственными руками.

Дети стоят, задирают головы,
Разглядывают картонку неба, распятую на стропилах,
Мечтают стать каменщиками
С лужеными горлами,
С карманами, полными солнечной пыли.

А в их учебниках — порванных, мятых —
Лишь порох и строчки покойных поэтов,
Никакого тебе золота на безымянных,
Опасности никакой, никаких секретов.

Когда наступает рабочий полдень,
Мастера достают нарезанные заранее
Хлеб и зелень. И песню пускают по небу
Прям из радио по-над высокими зданиями.

И дети глядят на рабочие блузы,
На движение лифта сквозь облачные торосы,
И сердца их волокнами кукурузы
Замирают в воздухе, почувствовав осень.

*Перевод с украинского **Анны Аркатовой***

IN MEMORIAM



Андрей Грицман

О БАХЫТЕ

Все, кто был с ним рядом, становились его учениками. Скорее не в том — как надо писать стихи. На самом деле, никто и не знает, как это делается. У него учились тому, как надо подходить к жизни, к творчеству, к себе в творчестве: в точности знать себе цену, но внешне не относиться к себе серьезно. Надутым, вознесенным, «великим» Бахыта я никогда не видел. Переменчивым, вдруг закрытым, отрешенным — да, видел. Напыщенным — никогда.

В этой группе близких Бахыту людей все сживали с ним за одним столом, некоторые годами. Вот и сейчас ощущение, что все мы сидим за этим Столом, а Бахыт, как и обычно, отошел на диван подремать, выставив свои смешные носки, и вот опять подойдет к столу, еще «белого вина» (то есть водочки) выпить. Такое чувство, видимо, всегда и будет. Пока мы живы. И этого Бахыта мы никому не отдадим. А стихи — что стихи? Корпус стихов Кенжеева мы с радостью и грустью разделим с будущими поколениями, с теми, кому не посчастливилось посидеть с ним за одним столом, послушать Ремонта Приборова, его истории и шутки. И будет этот корпус стихов стоять там, где ему и положено, и между кем положено. Как вот и сейчас у меня на полке. Поверну голову и смотрю — вот они. И Анненский там, и Целан, и О.М., само собой.

«Приходит смерть. И это не беда», — сказано в стихотворении Цветкова. Именно эти слова и поместили Бахыт с Леной на могильном камне Леши вблизи Тель-Авива. На самом деле — беда. В сети множество проникновенных текстов о нем, фото с Бахытом — в застольях, на выступлениях, в обнимку. С кем только Бахыт не обнимался. О его творчестве много написано и будет еще больше. Большой художник только со временем раскрывается, слой за слоем, и чем больше художник, тем больше слоев, как в свитках. Но сейчас не об этом. Сейчас сдавливает тоска, грусть, непонимание — как же так получилось? «С этим виделся чуть не за час. Смеялся. Снимался около...»

Говорят, что, когда речь заходит о великом поэте, надо касаться только его стихов, его места в литературе и т.п. Какое, казалось бы, имеет значение, что Пушкин был невыносим в общении, за исключением лицейских друзей. И то — дуэли, ссоры. Или кого там Мандельштам спустил с лестницы, или в каких-то гостях съел все печенье из вазочки... Болезненно жаль человека. Прежде всего. Человека с его очарованием, манерами, слабостями, душевной щедростью. Ленка злится — Бахыт не то в гости надел. Опять встал из-за стола в гостях и пошел спать на диван. Как Леша в споре за столом мог краснеть, орать и начинать палкой махать. Когда свое, родное — все так и вспоминается. И вот теперь его нет. Что бы ни говорили, ни писали — постичь это невозможно. Что там, за этой чертой?

Мелочи, мелочи — так важны. Иногда удивляли, приводили в недоумение. А оказалось, что в этот первый период вспоминаются не только его волшебные стихи, особая музыка, плавающий ритм, очаровательное многословие, никогда не угадать, куда дальше строка пойдет, как изогнется, как звук из поэтической речи совершенно естественно перейдет в разговорную, как будто он просто рассказывает историю. Сейчас вот читаю вслух стихи Бахыта на разных поминальных мероприятиях, стараюсь передать его интонацию. А не получается. Настолько тонки и неуловимы переходы, проговоры. Хотел было сравнить с каким-то музыкальным жанром — и не выходит. Попробуйте передать, пересказать течение живого ручья.

Теперь прежде всего вспоминаются вот эти черты: чудачество, радушие, легкое ерничанье, насмешливость, в первую очередь над самим собой. Хотя цену себе он абсолютно точно знал, но это редко прорывалось напрямую. Я понял, почему так хочется вспоминать и вспоминать все — и домоводство, и, с пеной у рта, доказывание преимуществ какой-то еды (химический состав! — профессионал-химик) или особой водки, преклонение перед Ремонтом Приборовым, выдуманное alter ego Бахыта. Для его дарования, для языка, который переполнял его, не хватало пространства в одной личности.

Но это не раздвоение, растроение личности, как нередко бывает у творческих людей. Это другое — переполнение музыкой языка. А как личность он — абсолютно цельный. Кстати, и близость к химии оттуда же. Слили два раствора, и вдруг получи-

лось что-то совсем другое, и по цвету, и по текстуре. А формулу не записать. Она где-то только у него, неопределима.

В последний раз, когда мы виделись, совсем недавно, у них на Мерсе, мы рассказывали о том, как были у Цветкова на могиле, и Бахыт по памяти прочел за столом замечательный Лешин стих:

*Оскудевает времени руда.
Приходит смерть, не нанося вреда.
К машине сводят под руки подругу.
Покойник разодет, как атташе.
.....
...Поскольку жизнь всегда имеет выход,
И это смерть. А ей не возразить.*

*Возьми гармонь и пой издалика
О том, как жизнь тепла и велика,
О женщине, подаренной другому,
О пыльных мальвах по дороге к дому,
О том, как после стольких лет труда
Приходит смерть. И это не беда.*

Слезы тогда были у него на глазах. Он уже тогда знал, что нам не дано было знать. И, по-прежнему, не дано.

Вадим Муратханов

ШАМШАД АБДУЛЛАЕВ: ОПЫТ СВОБОДНОГО СТИХА

Уход Шамшада Абдуллаева опечалил многих, кто воспринимает современную русскую поэзию во всей ее полноте и богатстве связей с мировой культурой. Стала ли его кончина невосполнимой утратой? И да, и нет.

Да — поскольку творчество Абдуллаева и созданная им Ферганская школа были уникальным явлением на постсоветском пространстве; кроме того, столь одаренных и при этом оригинально мыслящих, эрудированных, открытых западному искусству поэтов, как Шамшад, совсем не много в современной литературе. Само его присутствие в литературном процессе обеспечивало русской словесности дополнительное измерение.

Нет — поскольку оставленный Абдуллаевым корпус текстов уже при его жизни обрел монументальность и концептуальную завершенность, превратился в прижизненный памятник. Его поэзия и эссеистика, более известные и популярные в России и Европе, чем на родине поэта, еще ждут своего глубокого изучения и осмысления, и полагаю, что со временем они зазвучат иначе, будучи отделены от мифотворчества, которое сопровождало Шамшада на протяжении его литературного пути.

Несоветскость Абдуллаева и ферганцев, их несовместимость с традиционализмом давно стали общим местом на устах у критиков. Однако Шамшад был продуктом советской системы, пусть и глубоко побочным. Он был представителем позднесоветской интеллектуально развитой молодежи, с ее отрицанием и нарочитым игнорированием «совка» во всех его проявлениях, с любовью к западному кинематографу и музыке. The Beatles, Pink Floyd, Боб Дилан занимали достойное место в его персональном пантеоне, да и во многих его текстах. Демонстративный отказ от русской литературной традиции с ее хрестоматийными березками и избушками, обусловивший своеобразие ферганцев, уходит корнями в провинциальную советскую школу, с Пушкиным и Лермонтовым на стенах и запахом прелой тряпки для стирания с доски надиктованных слов. Ферганская школа была в определенном смысле формой бегства от школы советской.

Нельзя сказать, что Абдуллаев противопоставлял кому-то или чему-то созданную им эстетику — скорее противопоставлял. Он всегда предпочитал борьбе уклонение и отсутствие — и благодаря этому зачастую выигрывал.

Когда в середине 90-х усилилось давление узбекского Союза писателей на модернистскую «Звезду Востока», которая во многом была обязана своей позицией и направленностью Абдуллаеву, заведовавшему тогда в журнале отделом поэзии, Шамшад уже редко появлялся в стенах редакции. Он выводил себя за скобки корпоративных разборок и продолжал писать свои тягучие медитативные тексты, (без)действие которых происходило вне времени, в пыльных декорациях детства, и тихая Фергана подходила для этого лучше шумного Ташкента.

Когда спустя несколько лет мы с Санджаром Янышевым и Евгением Абдуллаевым собирали 3-й выпуск «Малого шелкового пути», который мыслился, в том числе, как встреча двух школ — Ташкентской и Ферганской, — Шамшад не стал огорчать нас отказом. Хотя именно к этому могла его подтолкнуть реакция на наш проект ряда московских критиков, усмотревших в Ташкентской поэтической школе «самопровозглашенное» объединение, искусственно противопоставляющее себя ферганцам. Он дал в наш альманах свою подборку и тем самым благословил на сотрудничество с нами собратьев по школе. Помню, как в ответ на мои размышления о якобы намечавшемся антагонизме двух поэтических групп Шамшад улыбнулся: «Ну что вы! Вы нам не соперники — вы наши укашки. Это наш долг — поддержать вас». («Ука», уменьшительно «укашка», на узбекском означает «младший брат».)

Еще один миф связан с языком, на котором писал Абдуллаев. Некоторые критики и исследователи его творчества полагают, что выбор русского языка для ферганских поэтов был произвольным, что с тем же успехом они могли использовать в своем творчестве узбекский. Не замечая, что противоречат эстетическим принципам, которые манифестировались самими ферганцами, равнодушными (если не сказать больше) к русской литературной традиции. Думаю, они ни за что не стали бы писать на русском, если бы не говорили и не думали на этом языке о матерях, уловленных в тексты; если бы на нем не были прочитаны ими впервые Кавафис, Квазимодо, Пазолини... Есть язык для общения с матерью — и есть, по выражению ферганцев, язык-посредник. Уточнил бы:

язык импринтинга, на котором звучала для ферганских юношей 80-х классика европейской поэзии XX века. Если бы Абдуллаев выбрал для своего творчества узбекский, это потребовало бы от поэта двойной опосредованности: переноса средиземноморской эстетики, запечатленной в русских переводах, на узбекский язык (именно так, через русские переводы, в советское время перелагали некоторые ташкентские литераторы на узбекский канонические образцы европейской литературы). Что касается Шамшада, то он в своих стихах и эссе как раз таки избегает лишней опосредованности, выбирая кратчайшие пути для перевода загустевающего восточного времени в слово. То, что испытывает и во что погружается герой Абдуллаева, всегда важнее литературной формы, в которой он доносит до нас это переживание. Трава на ферганских пустошах выгорает под средиземноморским солнцем, и читатель в какой-то момент забывает, что эти зыбкие сонные пейзажи сняты на пленку русского языка — языка Пушкина и Толстого, где и тот, и другой выведены далеко за рамки текста.

«Я плохо знаю русский язык», — не без доли лукавства сетовал иногда Шамшад.

Во время бесед с Абдуллаевым мне порой казалось, что, говоря о европейском искусстве, он переходит на язык птиц, и тогда я на какое-то время терял нить разговора. Но если тема не интересовала его по-настоящему, Шамшад сворачивал ее быстро и неожиданно. Когда речь заходила о том или ином авторе, которого он оценивал невысоко, характеристика в его устах могла звучать так: «Человек замечательный, душевный такой человек. А уж как плов готовит...» Такие отклики «не по существу» удерживали в беседах с ним от обсуждения каких-то отдельных персоналий. Но я учился у него широте восприятия, личной свободе, умению прислушиваться к внутреннему голосу, не смешивая его с уличным шумом.

Чтение Абдуллаева сродни медитации: оно требует замедления сознания, настройки на тонкую, едва осязаемую волну в ожидании внутреннего щелчка. В его текстах много музыки — но вся она беззвучна, как фото старых музыкантов на пожелтевших пластиночных конвертах.

Однажды я обмолвился, что люблю отдыхать, разглядывая обои: оживающие узоры бесконечно перетекают один в другой, подстегивая воображение. «Да, так и надо, — кивнул Шамшад. — Учитесь писать у обоев».

Алла Боссарт

ЧУДО НОРМЫ

Памяти Льва Рубинштейна

Пока я, как труп в пустыне, лежал без облика и склада на хирургическом столе, весь опутанный трубками, а надо мной только что отжужжал и отдвигался зооморфный робот, вошла Елена Юрьевна Васильева и сказала загадочную фразу: «Диагноз: поэт», — сказала она.

Я даже не стал уточнять, что она имела в виду. По крайней мере в данном конкретном случае. Мне почему-то показалось в тот момент, что я понял.

«А вы мне справку об этом сможете выдать? С печатью? — спросил я. — А то ведь некоторые в этом сомневаются. Включая меня самого».

Это Лев Рубинштейн написал четыре года назад.

Думаю, что разговор с врачом во время процедуры Лева придумал, как (подозреваю) он придумывал многие свои гомерически смешные байки: якобы он лично видел и слышал все это в жизни.

Вряд ли знающие Леву сомневались в его поэтическом существовании. Собственно, о незнающих мы и не говорим. А знающие — знают: мало кто оценивал существование в такой степени поэтически, как он.

Лева обладал магнетизмом — в физическом смысле, как железо. Этот его внутренний магнит подбирал и притягивал не только «случаи из языка», выращивая из них многомерные картины жизни. Он так же подбирал и разбросанных вокруг людей. Далеко не все из его даже близкого окружения знали друг друга. Но климат дружественности, доброжелательности, душевного расположения вокруг него распространялся, как ковид. Вирус со знаком плюс. И температура этого плюса была тем выше, чем ближе к нему вы находились.

В те дни, дни ПОСЛЕ — чтение сотен людей его силового поля было сосредоточено на Рубинштейне. Просто потому, что автор был не только «среди нас», но и вокруг нас. Мы находились среди этого автора. Человек слабого сложения, «теловы-

читания», и небольшого роста (его гроб поражал малым размером — как детский) заполнил огромное пространство. Мощь его голоса — как тембра, так и литературного состава — оказалась симфонической, как большой оркестр.

Привычно любя Леву, многое про него понимая, — мало кто осознавал его величие. Слишком он был всегда добродушен, шутлив, весел и прост, слишком близок и привычен, и лицом к этому милому лицу истинного лица было не увидеть.

И, наверное, только после утраты, взобравшись по склону довольно высоко, не одна я вдруг сказала себе: а ведь Лева-то гений. Не только «гений места» по имени Москва, о чем написали многие, а реально — гений.

Свой замечательно глубокий и точный ум, весь редкой красоты и силы интеллект Лев Рубинштейн переплавил в текст. Вернее — в Текст. Из которого состоял сам и, как объяснял он нам неустанно, и состоит, собственно, жизнь.

Он страстно любил язык. И лучше всех нас понимал, что родина там, где — язык. Вообще-то говоря, язык — родина и есть.

Поэтому Лева Рубинштейн никогда никуда не уехал и был на этой родине счастлив настолько, насколько может быть очень умный и перенасыщенный иронией человек счастлив в России.

Когда многочисленные так называемые «релоканты» призывают проклятия на головы тех, кто остался в России, когда они учат оставшихся любить свободу и срочно сматывать удочки, потому что, де, стыдно жить в фашистском государстве, когда эти разговоры в течение полугода накаляли эфир в моей собственной семье, переместившейся в вотсап по разные стороны границы, — я всегда думала о Леве Рубинштейне, который никуда не уехал и не собирался этого делать, при том что был самым свободным из всех нас.

Мы, все, кто уехал из России, даже приблизительно не представляем себе, что такое свобода. Вы думаете, что, уехав, вы обрели свободу? Вы серьезно так думаете? Я — нет. Прежде всего потому, что меня вынудили это сделать. Меня напугали. А страх и свобода — вещи несовместные.

Рассуждая о свободе, которую мы задарма, незаслуженно получаем за кордоном, вспоминайте о Леве Рубинштейне, которому свобода была просто присуща. *«И непредвзятая свобода сияла на его челе».*

Это Иртенъев написал о Еременко, но это абсолютно — о Рубинштейне.

Его свободу рационально объяснить нельзя. Как ни тщись найти объективистское основание левитации, у нее пока только два объяснения: чудо и Божий дар.

У Льва Рубинштейна был Божий дар свободы. Он ничего не боялся, потому что — осознавал необходимость своих поступков и своего поведения вообще. Как-то весной шли мы к Гандлевскому, по Чистым прудам. В это время там были бдения правозащитников «у Абая». Люди клубились день и ночь, несли дежурства, митинговали. Встретили, конечно, Лева. Стали зазывать с собой, у Сережи прекрасная компания собралась, приехал Бахыт, в общем роскошь нечастая. «Не, ребят, я не могу», — морщился на солнце Лева. «Да что, ей-богу, без тебя здесь мало народу? Что изменится, если ты уйдешь?» — «Ну я не знаю, изменится — не изменится... Не могу».

Лева сам устанавливал правила — и права для себя. Как сам изобрел уникальную форму своей литературы, нашел свой, только ему присущий способ переплавки реальности в текст, и способ этот повторить никто не сможет. То есть сможет, конечно, дело-то нехитрое — записывать фразы на карточках. Но никто, кроме Рубинштейна не овладел тайной золотого ключика: как и что отбирать из гула жизни, из этого белого шума, а главное — в каком порядке расставлять атомы, чтоб получить искомого молекулу.

Его творческий метод был самым настоящим философским (рубиновым) камнем, с помощью которого получалось новое драгоценное вещество. Рубинштейн, собственно, открыл закон сохранения энергии слова. Услышанное/придуманное и перенесенное затем на бумагу — оно оставалось живым. Поэтому его странные тексты были — даже не просто поэзией, они были поэтическим театром.

После его гибели искусствовед Галина Ельшевская выложила в сети пьесу, которую Лева прислал ей пару лет назад. «Никого нет» называется. В этой пьесе уйма действующих лиц, безумно смешно описанных, и двадцать с лишним картин. Картины изобилуют ремарками с рефреном: «Никого нет». Никто так и не появляется.

Поставить такую пьесу, конечно, нельзя (хотя Дмитрий Крымов, наверное, мог бы) — но ее можно прочитать. И это редкой радости чтение. Как Лева понимал природу смешного — не знаю равных. Он пародировал, травестировал, пересмешничал — но он никогда не упускал из поля зрения трагизм жизни, ее конечность, смертоносность. «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем» (по Занусси) — конечно же, была внятна Льву Рубинштейну, как мало кому из поэтов. И этот подтекст смерти, эта «тень луча» (М. Сипер) — падает от самых веселых его текстов.

Рубинштейн пошел дальше современных ему постмодернистов. Он не только переосмысливал и использовал прежние тексты для создания новых. Он первым обнаружил бессмертие каждой единицы языка, увидел в самом вымороченном речевом слое — плодородный.

Эти особые отношения с языком сделали Рубинштейна (наряду с Приговым) родоначальником советского концептуализма.

Я не люблю это течение, мне оно кажется лишенным почвы и потому малоинтересным. Но Лева ввел концептуализму инъекцию личной памяти, личного романтического (и юмористического) осмысления бытия. Так его «картотека» превратилась в роман. Обрела краски, запахи, объем непрекращающейся жизни.

* * *

В последнее время Лева с видимым и огромным удовольствием (а Д. Быков неустанно нам повторяет, что с наслаждением читается то, что автор с наслаждением писал) — так вот Лева с наслаждением вспоминал свое детство. Каждый день в Фейсбуке появлялся очередной мемуар под рубрикой «Тайный ход» — конечно, складывалась книга.

Ах, какие это великолепные тексты. Какие смешные, точные, любовные свидетельства тайного хода времени, по реке которого плыл и плыл маленький Лева Рубинштейн, пока не повзрослел.

А повзрослев, пошел учиться — просто так, для порядка и спокойствия родителей — в заочный пединститут. Но там была библиотека, где Лева и начал работать. И одновременно изобретать свой метод.

Примерно тогда я его и узнала — гораздо раньше, чем познакомилась с ним. Он дружил с художником Андреем Демькиным, приятелем моей университетской подружки. Поэтому слышала я о нем без конца и пару раз мельком видела.

А однажды шла мимо библиотеки имени Светлова рядом с метро «Маяковская» и вижу: сидит у большого окна в читальном зале Лева Рубинштейн и пишет на этих своих уже тогда знаменитых карточках.

Ну а потом-то, спустя годы и годы, мы подружились и много где выпивали, плясали, читали и слушали, а Лева-то еще и пел. Он же, как известно, здорово поет, густой такой баритон, непонятно как гнездящийся в его небольшой грудной клетке.

Когда случилась беда — в сеть хлынула лавина его фотографий. И, листая их, я увидела вдруг, насколько он естественен — всегда, в любых обстоятельствах: поет ли, выпивает ли, дает ли интервью, стоит в пикете, выступает или просто идет в толпе (или один) по улице. Равен самому себе. Поэтому, наверное, его так легко и приятно было снимать... Самодостаточен — как и его литература.

* * *

Говорили — да, мол, надо быть готовым к худшему.

Я-то лично была уверена, что худшего можно избежать. Опыт чуда есть у многих из нас.

Но чуда не произошло.

И все-таки оно произошло.

То, что среди нас, на этой безумной земле, в этом искусственном городе, 76 лет жил и был всегда уместен человек, самый нормальный и самый настоящий из всех, кого я знаю, — было, конечно, чудом.

Хотя норма — это вроде как не про Леву, потому что таких же не бывает. Не бывает, потому что мы забыли, что такое норма. Чудо человеческой нормы — это Лева Рубинштейн. Легкость движений и глубина острого ума, доброта, дружелюбность, совесть и блистательный умный юмор. И много чего еще, про творческую составляющую, но там мы попадаем в дебри, где и пропадем.

Ответственность, которую он сам для себя определил — это ведь тоже норма.

Я думаю, человек в норме должен быть очень сложным, так природа захотела. Но становится он (увы) все проще.

Как-то говорили слевой об одном общем приятеле, хорошем парне. «Все-таки простой он чувак, что ни говори...» — «Да ладно, — обиделась я за дружка, — не проще тебя!» Лева посмотрел на меня с мягкой улыбкой, как на ребенка: «Проще. Еще как проще». И вздохнул. Видать, не так легко ему было жить, со столь хитрым и совершенным устройством внутри... С таким тонким, безупречным слухом и вкусом.

А может, как раз в чем-то и легче.

Ведь Лева обладал фасеточным зрением. И видел сразу разные стороны вещей. Страшные и смешные одновременно.

Как-то в пустом вагоне ночной электричке к нему подсел пьяный татуированный амбал и, дыша ему в лицо не совсем духами и туманами, облапил со словами: «Как думаешь, брат, кого бы мне здесь убить?»

И такими историями Лева был буквально нашпигован.

Дмитрий Горчев написал веселую книжку о Предназначении. Весело о важном — это его роднило с Рубинштейном.

От других занятий Предназначение отличается тем, что награда за его исполнение никакая на Земле не положена, потом будет вознаграждение, после Смерти, или вообще не будет, не главное это. ...Вот занимается человек разной скучной хуйней, занимается, и вдруг чувствует, что пора исполнять Предназначение. В этом случае он обязан все бросить, послать всех на хуй, отключить телефон и исполнять. Потому что это вообще единственная причина, почему он здесь находится, нет больше других и не будет.

И добавляет, что, когда Предназначение исполнено, можно и умирать. Сам Горчев умер чуть за сорок.

Лева уникален тем, что никогда не занимался скучной хуйней. И не водился со скучными людьми. Похоже, что Предназначением Левы Рубинштейна была вся его жизнь. И она не закончилась, а по трагической случайности прервалась. На самом, возможно, интересном месте. И у меня есть детская надежда — что не навсегда. Что будет еще второй сезон.

Сам он написал лет десять назад:

Хватит уже о грустном. И, главное, хватит уже, — ну хотя бы на чуть-чуть, — друг друга пугать. Лучше я вам расскажу нечто условно веселое. Ну, например, о том я расскажу, как я в чьих-то комментариях обнаружил что-то такое, начинающееся словами: «Как говорил незабвенный Лев Рубинштейн...» И что-то дальше, какая-то цитата из «незабвенного». Цитату я даже и читать не стал, а стал ощупывать себя руками во всех местах и вообще глубоко призадумался. Даже и не знаю, хорошо ли быть «незабвенным». Впрочем, узнаю, когда придет время. Торопить это время мы, впрочем, не станем. Придет и придет.

INTER POEZIA

